

G





ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОДА

*Перевод с польского
Сергея Морейно*

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

На крыльях зари за край моря

Русский Гулливер

Перевод поэмы Ч. Милоша *Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada*
сделан по изданию *Cz. Miłosz. Wiersze wszystkie*. ZNAK, Краков 2011

Чеслав Милош. На крыльях зари за край моря.
Русский гулливер, Москва 2016. – 84 с.



INSTITUT KSIĄŻKI Книга выпущена при поддержке
польского “Института Книги”
©POLAND (Программа переводов ©POLAND)

Переводчик благодарит
дом Гнома в “Большой Клинике”,
“Дом сказочника” в Светлогорске,
Международный дом писателя и переводчика в Вентспилсе

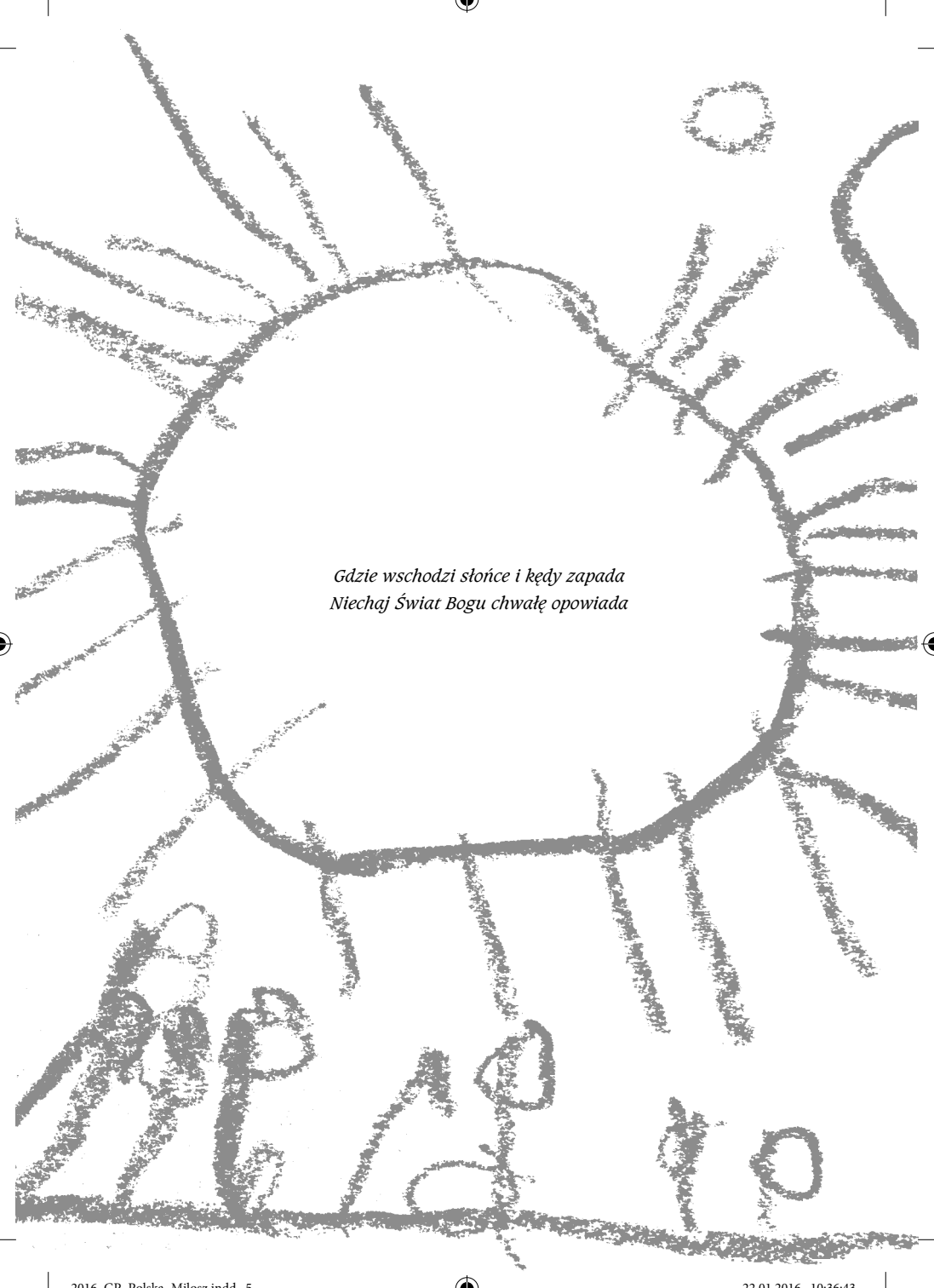
Перевод – Сергей Морейно
Редактура – Гала Узрютова
Инициация – Агнешка Косинска, Кшиштоф Заяс, Ксавьер Фарре

Фото на обложке – Андрис Тапиньш
Рисунок на шмуцтитуле – Ольга Видеркер
Идея серии – Олег Асиновский и Вадим Месяц

...Действительность требует облечь ее в имена и слова, но она невыносима, и, если мы ее касаемся, когда она рядом, из уст поэта не исторгнется даже жалоба Иова: всякое искусство оказывается ничем в сравнении с действием. А объять действительность так, чтобы сохранить ее во всем извечном переплетении добра и зла, отчаяния и надежды, можно лишь благодаря дистанции, лишь возносясь над ней – но это, в свою очередь, представляется нравственной изменой (Лекция по поводу вручения Нобелевской премии 8 декабря 1980).

- © The Czeslaw Milosz Estate. All rights reserved:
Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, 1974
- © Сергей Морейно: *перевод, комментарий*, 2015
- © Andris Tapiņš: *фото*, 2010
- © Olga Wiederkehr: *рисунок*, 2015
- © Русский Гулливер: *издание*, 2016

ISBN 978-5-91627-156-0

A child-like drawing in black ink on a white background. The central focus is a large, roughly circular sun with many straight lines radiating outwards as rays. Some rays are longer and more prominent. In the upper right corner, there is a smaller, simple circle. At the bottom of the drawing, a horizontal line represents the horizon, with several simple, rounded shapes below it representing trees or bushes. The overall style is naive and expressive.

*Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada
Niechaj Świat Bogu chwałę opowiada*



НА КРЫЛЬЯХ ЗАРИ ЗА КРАЙ МОРЯ

I. ПОСЛУШАНИЕ

Что бы ни подвернулось под руку, кисть, резец, перо,
карандаш,
Где бы ни застали меня, на плитах атриума, пред царской
парсуной, в монашеской келье,
Исполню все, к чему был призван в провинциях,
Вступая, хоть некому объяснить, куда вступаю и зачем.
Вот и сейчас, под фиолетовой тучей коня рыжего просверк.
Вьются, знаю точно, подручные по подземельям,
Свитками шелестя, цветную тушь кладут и лак на печати.

А страшно уж как страшно. Мерзостность ритмичной речи,
Что сама себя обмоет, сама же и причешет,
Пусть я и хотел бы сдержать ее, вымотан лихорадкой,
Инфлюэнцей вроде тех, испанских поветрий,
Когда вперенный в тщетность моих затхлых лет
Слушаю, как штормит в окне Тихий Великий.
Но нет, подтяни ремень, мужеское являя начало,
Оттого только, что день и заржал конь рыж.

О равнины. Просверкнут поезда тумана.
Дети идут пустырем, хмарь за чухонской деревней.
Ротмистр Ройза, мертвый. Мовчан. Вихри враждебны.
А хуление незаконных саднит и горчит змеиным укусом.

Не преклонить колен над рекой невеликого края,
Чтобы внутри окаменевшее развязалось,
Чтобы уж ничего кроме слёз моих, слёз.

Хор:

Беспокойны
Чаянья старцев.
В ожидании дня
Силы и славы.
Дня понимания.
Столь многое нужно
За месяц, за год
Сдюжить.

Кружит, подобна небу, на солнечных островах, на соленых
бризах,

Течет, не течет, иная, всё та же.
Резные каноэ, в сто весел, танцор на корме гарцует,
Прыг-скок палочкой о палочку стук-постук.
Звонящие пагоды, в бисерной паутине зверюшки,
Тайные терема царевен, плотины, лилии.
Кружит, течет, речь.

Хор:

Чей краток век, у того легкие вины.
Чей долог век, у того тяжкие вины.
Когда ж настанет тот брег, с которого мы увидим,
Как и отчего случилось?

Темным-темны города вернулись.
Листья кленов устилают двадцатилетнему путь,
Что идет терпким утром и заглядывает сквозь заборы в сады
// Или подворья, где кто-то колет дрова и лает Жучка.

А теперь слушает на мосту плеск ручья, колокольного смеха,
Под соснами песчаных обрывов иней, туман и эхо.

Откуда ведом мне запах дыма, поздних далей
На покатых улочках в дощатых настилах,
Если это было давно, в приснившемся тысячелетии,
Вдали, там, откуда бежит исчезающее светило?

Был ли я там, свернутый зародышем в семядоле,
Призван с тем, чтобы за часом час меня коснулся?
Так ли мало под вечер выпало зноя и тягот,
Что вместо платы свершившаяся моя участь?

Под фиолетовой тучей коня рыжего просверк
Откроет мне смутно былое.
Роняет имя мое покровы
И в водах звезды сгорают.
Вновь тот неназванный говорит за меня,
Отпирая сонные тающие дома,
Чтобы писал тут в пустынях
За морями и горами.

II. ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА

Хотел бы забыться в легенде, в буколке, однако не выйдет, не оттого, впрочем, что слишком сильно занимало меня уменьшение численности кондоров в Сьерра-Неваде, падение социального статуса медведя или же распря между зелеными и ковбоями по поводу горного льва, он же кугуар, то есть, пума, в результате чего сенат штата Сакраменто запретил в 1971 году охоту на кугуара в течение ближайших четырех лет:

Четырехпалый клевер вдоль речной жилы,
Орех-двойчатка в лесной заказ.
Там жизнь большая нам ворожила
И ожидала, хоть не было нас.

Отче дуб наш, круты твои плечи.
Сестра березка вслед пошептала.
Так удаляясь мы шли навстречу
Живой воде, как к началу начал.

Пока в боровой скрываясь черни
В течение дня юного лета,
Не встали у ясных вод вечерних,
Где князь бобров переправы лепит.

Прощай, природа
Прощай, природа

Пролетали над лентой белошапочных гор,
На душу кондора в кости играя.
— Улестим ли мы кондора?
— Не улестим мы кондора.

// Запретных плодов не вкусил, се вымирает.

В парке над рекой медведь перешел дорогу
И, вытянув лапу, о помощи просит.
— Так-то шугал пилигримов лесного края?
— Дай ему пива бутылку, пускай гуляет.
Знавал и он время добрых медвяных просек.

В два прыжка преодолена лента асфальта
И снова в свете фар отуманенный ливнем лес.
— Вроде бы кугуар.
— Может статьсья.
Если верить статистике, как раз здесь.

Прощай, природа
Прощай, природа

Словно наяву вижу, как разбивается детское мое
мечтанье:

Итак, сидя-не-сидя за партой, я ныряю в пособие на стене
класса, *Фауна Северной Америки*.

Братаясь с прачкой-енотом, глядя оленя вапити, гоня диких
лебедей над карибским шляхом.

Хранит меня чаша, в ней серая белка может неделю идти по
верхушкам деревьев.

Но волею-неволею надо к доске, кто ж угадает, когда.

Помок в пальцах мед, оборачиваюсь и слышу мой, таки мой,
голос:

«Белее конских черепов в пустыне, чернее путей межпланет-
ной ночи

Нагота, и только, безоблачный облик Движения.
Эрос, вот кто сплетал нам гирлянды из цветов и плодов,
Плавленное золото из жбана цедил в закаты и восходы.
Это он вел нас посреди сладких пейзажей
С низкими ветвями над потоком, ладных взгорий,
Эхо манило нас всё дальше, кукушка сулила
Место, спрятанное в гуще леса, где нет печалей.
Взгляд наш уязвлен и вместо гниения зелень,
Киноварь лилии, синь генцианы горечавки,
Кожистая кора в полумраке, извилистость ласки,
Так, лишь восторг, Эрос. Уверовать в алхимию крови,
Вечные обеты дать миражам, земле детства?
Смириться ли со светилом без цвета и речи,
Никуда не рвущимся, никого не зовущим?»
Спрятал лицо в ладони, а класс за партами смолкнул.
Неведомый, ибо минул век мой и сгнуло поколение.

О своей давешней изворотливости держу речь, когда, предчувствуя многое, пришел к мысли, что собственно не нова, но высоко чтима теми, что серьезнее меня, но не были мне известны:

Сгнуло поколение мое. И города. Народы.
Но об этом чуть позже. А сейчас обряд мгновения
В окне отправляет ласточка. Тот юноша, неужто понял,
Что красота никогда не здесь и всегда лжива?
Глядит на свои палестины. Косят отаву.
Изогнулись дороги, под гору. Роши. Озера.
Пасмурное небо с единственной ясной прядью.
Повсюду шеренги косарей в домотканых рубахах,
В портах темно-синих, выкрашенных, как велит обычай.
Видит, что вижу и я. Впрочем, был сметливым,
Смотрел так, будто память преображала вещи.
На бричке егозил, чтоб впитать как можно больше.
Откладывал, значит, искомое на черный денек,
Ради сложения из крох идеального мира.

И всё бы ничего, если бы не подводил нас язык, для одного и того же подбирая всё новые имена в чужих временах и землях:

*Альпийская падающая звезда, Альпийский метеор
(Додекатеон альпинум)*

Встречается в горных лесах на Рог Ривер.
Река эта, в Южном, стало быть, Орегоне,
Раскинула на труднодоступных своих берегах
Рай для охотника и рыболова. Черный медведь и кугуар
Водятся в изобилии на тамошних склонах.
Название идет от розово-лиловых цветков
С обращенным к земле пестиком, вверх лепестками,
Вкупе напоминающих звезду из журнала
Прошлого века, несущую тонкий сноп линий.
Реку же нарекли трапперы-французы,
Когда один из них угодил в засаду индейцев.
С той поры стала для них Ривьерой Плутгов,
Беспутной Рекой, отсюда Рог в переводе.

Сидел над ее течением громким и пенистым,
Сжимая камни в ладонях, думал, что имя

Индейское того цветка останется неизвестным,
Как неизвестным останется имя, древнее, их реки.
Каждая вещь должна нести в себе слово.
Но не несет. Ничего не поделатъ.

Лезут в голову дикие куплеты об Оняле и žalia rūtele, зеленой руте, вечно, казалось бы, символе жизни и счастья:

Для кого ж Оняля руту высекала,
Ту вечнозеленую в шетейнских огородах?
Кому *жаля рутяля* вечером спевала,
Эхо разносило по росам, по водам?

И куда ж в веночке рутовом пошла она,
Юбку да из кофра брала ли с собою?
И кто на том свете-то индейском да узнает,
Что была Онялей, а стала другою?

*Коротенько о том, как изменилась любимая мной некогда книга
Наш лес и его обитатели:*

Плач разодранного зайца наполнил лес.
Наполнил лес, в нем ничего не меняя.
Ведь смерть отдельного существа является его личной
проблемой,

И пусть оно разбирается с ней, как умеет.
Наш лес и его обитатели. Наш, нашей хаты,
Опоясан колючкой. Сосут, чавкают, цедят,
Взрослеют, гибнут. Мать равнодушна.
Если вынуть из ушей серу, то бабочка в хвое,
Расклеванный птицей жук, раненая медянка
Лежали бы внутри концентричных кругов
Вибрирующей агонии. Ее пронзительный звук
Заглушил бы стрельбу лопнувших почек,
И детям нашим, с земляничной полянки,
Не слышать дрозда, трелей его, этих чудных.

Отдам должное Стефану Багинскому, научившему меня пользоваться винтами микрометрическим и макрометрическим, а также предметным стеклом, не забуду и главного виновника моего пессимизма, цитируя к месту его труд о подвигах на службе науке, для пользы юношества изданный в Варшаве в 1890 году: Проф. Эразм Маевский, *Доктор Мухолов; фантастические приключения в мире насекомых*:

Наставникам юности нашей приветы.
Тебе, ангел от естествознания,
Брюзгливец Багинский в клетчатых пумпах,
Властитель амеб и инфузорий,
Где бы ни упокоился твой, чуба тонкорунного
Череп, обласканный роем элементов,
Какая бы ни постигла очки твои участь,
Их тонкую золотую оправу,
Долг возвращаю.

И ты, свободный от всяческой эрозии,
Ты, Доктор Мухолов, рыцарь
Приснопамятного похода в край насекомых.
Живешь, как и жил, на улице Медовой в Варшаве,
Слуга твой Григорий с утра ковры выбивает,
А ты оделся для холостяцкой прогулки
Вдоль тех аллей, где уже давно одержал победу
Надо всем, подвластным распаду и переменам.

Случилось это в месяце (вероятно) июне, год 187*-й:

«День, в которой наш натуралист должен был повести к алтарю прекрасную нареченную, был ясным и безветренным. Именно такие располагают к вылазкам за мухами. Д-р Мухолов, тем не менее, надевши фрак, уже не думал о двукрылых созданных. Лишь в связи с погодой, а более по привычке, свой последний свободный час решил провести в Королевских Лазенках. По пути он размышлял о счастье

будущей жизни, как вдруг его мечтательному взору представило нечто двукрылое. Прищурился и застыл на месте. Ктырь! Азилюс, но невиданный до сих пор азилюс! Сердце стучало, словно молот. Затаив дыхание, сделал шаг к ветке, чтобы рассмотреть чудо подробнее, тем временем хитрое насекомое, позволив убедиться в собственной неповторимости, перелетело на следующий сук. Наш зоолог, не упуская его из виду, на цыпочках пошел на сближение, но ктырь, не будь дурак, вовремя отдалился. Раз за разом проделывая сей фокус, разудалая муха обвела его вокруг клумбы. Естественник терял ее, вновь находил, так играли они в прятки, время же шло себе и шло. Настал час венчания, когда азилюс устроился весьма высоко, так высоко, что впору было лезть на дерево, чтобы продолжить погоню. Раздумывать не приходилось».

Ах, лукавый Рок! Надо же было застукать
Ловца с цилиндром вместо сачка, на ветке.
Надо было сомлеть деве от этой вести.

О взбалмошность сущности женской.
Избрала себе землю тюля и газа,
Готовых треснуть зеркал в будуаре,
Ночных горшков, от которых разве что ушко
Звякнет под заступом, рожениц, вытниц,
Их шепотов Между устами и краем кубка
Либо между устами и наполеоном,
Подъедаемым последышами в бурьяне.
Земля как земля, для многих бесценна.
Да будет пухом, хоть не бывает пухом.

Признайся, когда бы не день этот, Мухолов Ян,
Заплесневел бы дух твой средь абажуров.
Чиста и бескомпромиссна, страсть
Не вела бы встречь предназначению,
К рассветной поляне татранской,

В долине Бялой Воды, в Рувенках,
Чтоб, глядя на пурпур восходящего солнца,
Испить, согласно правилу, эликсира
И войти туда, где нету ни вин, ни жалоб.

Я был с тобой, умаленный, в бездонном крае,
В стеблях травы толщиной в ствол кедра,
Среди треска перепончатокрылых монстров.
Вставал по центру листьев шероховатых
И над полумраком болотной бездны
Переправлялся по канату из паутины.

Отметил: «в чудовишной связи».

На соках, смолах, клеях, миллион миллионов
Сплетенных лапок, крыльев, брюшков
Бьются, слабеют и остывают навечно.
Жирное мясо личинок, сжираемых заживо
Хищным потомством любопытствующих мух,
Волнуясь члениками, беспечно пирует.
Гуманитарий парламентского века,
Ну что ты за ученый, к чему нам сердоболие?
Уместно ль гневом исполняться,
Когда по черной тлеющей равнине
Пройдешь вратами выжженного града,
Ответчик и истец в зале мертвых мурашек?

Заразил жалостью к счетным машинам
В хитиновых мантиях, в прозрачных доспехах,
Мое наивное воображение носит
До сей поры твой знак, философ боли.
А ведь не держу зла, доктор *Honoris Causa*
Гейдельберга и Йены. Радуюсь тому, что
Горит на трости твоей бель слоновой
Кости, как если бы не татуировал ее пламень
И кто-то сел в бегущие по Аллее дрожки.

Попробую лапидарно описать опыт, полученный мной, когда вместо цеха странников и натуралистов избрал другое занятие:

Верно для этого я и бродяжил.
А как, пускай гадают те, кто, скажем,
Полазив в гротах возле Лез-Эзи,
Наверное делая перекур в Сарла
(Prival, как говорил Алик, мой *бедняшка*),
Оттуда отправляются к Суйяку,
Где барельефы портала в романском храме
Рисуют аферу монаха Феофила
Киликийского, а пророк Исая
Который век пульсирует в гибком ритме,
Как будто дергая струну незримой арфы.
Потом ушельями, пока не явится
Вверху, высоко сокровище богомоллов,
Такое же желанное, как в детстве нашем
Гнездо на верхушке ели: Рокамадур.
Впрочем, не настаиваю. Компостелла
Или Ченстохова не хуже учат.

Тяга и тленность. Тут валун омшелый
Чеканней делается с каждым поворотом,
Потом вдали исчезнет. Там вновь блеснет река
В деревьях и арках моста. Зато мы помним,
Нас не удержат ведута или альциона,
Сшивающая два берега яркой нитью лёта,
Ни девица на башне, хоть улыбкой манит
И нам завязывает глаза, ведя в покои.
Бродягой был терпеливым. Так что день и год
На палке насекал, цель приближая.

И только когда, спустя годы, достигнул,
Случилось то, что, думаю, случилось,
Если на паркинге при Рокамадуре

И место находилось, и ступеням счет
Велся, пока не обнаруживалось, вдруг:
Вот деревянные Мадонна и Младенец в коронах
Оглядывают вялую толпу туристов.
И я. Ни шагу дальше. Горы и доли
Избыты. Огни. Воды. И неверная память.
Страсть та же, но зовы идут ниоткуда.
И лишь разбившись, дом обретала святость.

III. LAUDA

Об этой земле один известный алхимик написал, что расположена там, где отведено ей место первойшей и наиважнейшей потребностью нашего ума, той самой, что вызвала к жизни геометрию вместе с точными науками, философию и религию, мораль и искусство. Алхимик этот, союзник Декарта, кстати, писал также, что называться та земля может Санаа или Армагеддон, Патмос или Лета, Аркадия или Парнас.

Нет, нет здесь места пространству иному.
Но я к вам взываю и вы предо мной,
Почти под тем же солнцем,
Почти похожей луной,
Капля дождя — и та имеет нездешний облик.

Иное. Честь короли отдают,
В парках прелаты поют,
Львы на колени встают,
Чудеса являют.

И мы залиты янтарем, со свистками, смычками,
Убегаем, спешим, поем славу прошедшей жизни
За то, что то, что было, не болит больше.

Тут в моей руке возникает скипетр
Или вот детский погремок, помочь мне немного,
Когда забуду стыд и наконец признаюсь,
Что многое однако вынес.

Стоп, вру, не скипетр, лишь плеть.
Вернее, хлопущка для мух, чтобы засесть дома,
Прислушиваясь у окна, вдруг сосед заедет,
// Тихо, нет-нет да и скрипнет колодец.

Я там родился, сам был из панов
Почище, чем Ляуда и Вендзягола.
Был крещен, сатаны же я отрицался
Возле Кейдан, в приходе Опитолоки.

Бить мух, медитируя, мое призвание.
А то велеть Юркшису фээтон готовить
И дышло повернуть к лесам в Гиряле
Сородичей навестить, Сильвестровичей там,
Довгирдов заодно, либо Довгеллов.

Счастья-то достанет. Сельцо у нас спокойно.
Но небогато, мало кто правит каретой.
Накладно, надобен аж четверик лошадак,
Наша так всю жизнь стояла в сарае.

Гнать зверя по пороше. Первая звезда близко.
Пообтряхнулся в сенах, войдя с мороза.
К святкам накрыто, слижики, сыта.
Знает, как мне угодить, разлюбезная Ядя.

Эх, кабы не был послан учиться в Вильно,
Что бы вышло? Ничего ровно.
И так не для моих костей Свентоброшь,
Свентыбрастис, у Святого Брода,
Где обрели покой все мои предки
И где ребенком дивился лошадиной привычке
Пить, остановившись посередине речки.

Словно бы я в пропасть бросаю камень
С моста Голден-Гейт, откуда самоубийца
Летит, как летают во снах, легче чем чайка.
Словно бы просыпаюсь пополудни,
// Затянутый во фрак с золотым узором.

Так записано, тайным шифром генов.
Либо сам дьявол из-за Невяжи, полунехристь,
Со мною, барчуком, за шахматы сел, исполнен
Еще не изведанной теллуровой мощи.

Не стану утверждать, что мне подфартило в девятнадцатом или в двадцатом веке, поскольку нет в этом уверенности, да и особого значения. В краю том четырехсотлетнее и вчерашнее различаются мало чем. В остальном место, что не теряет, но обретает выпуклость, весьма конкретно, и, вспоминая его, я стараюсь избежать вымысла. Хоть я и собирал земные ландшафты во множестве стран на двух материках, впечатление мое не могло справиться с ними иначе, нежели соотнося их с местами к северу, к югу, к западу и к востоку от деревьев и холмов одного уезда. В моем уезде и в соседнем, Ковенском, любая речушка, любое село и местечко обладают бесспорным удельным весом, отчего историки и архивисты относились к ним почтительно. Благодаря их труду я и смог составить следующие ПОЯСНЕНИЯ.

Ляуда. Корень слова не связан со средневековым итальянским хвалебным гимном, *lauda*, к коему апеллирует мой заголовок, не представляет собой резолюций региональных собраний plural noun. Литовское «Ляуда» отнюдь не родственно латинскому *laudare*. Течет в той сторонке речка Ляуде, впадающая в Невяжу и имеющая пять притоков: Некельпа, Гардува, Кенисротас, Никис, Вешнаута. Что же касается жителей, сослался бы на «Потоп» Сенкевича, да, боюсь, литературные сказки суть сомнительный источник. *Lietuvių enciklopedija*, монументальный труд в 36 томах (Бостон, 1953–1969), сообщает: «Ляуда. Название шляхетских селеч на правом берегу Невяжи, на линии Почунелай — Дотнува (Кейданского повета). Достаточные данные о ляуданской шляхте содержат судебные акты Россиенского края с конца XVI века, купчие крепости и прочие документы. В те времена широкая полоса правобережья Невяжи, где проживало боярство обширной, далеко простиравшейся земли Велюонской (Veliuona), звалось Ляудой. В бумагах просто: “в Ляуде”, “в Ляудах”, “Ляуденское имение”, “Ляуданский

двор” и т.д. Название это идет изначально от речки Ляуде. Поместье и поля Ляуды А. Салис локализует вблизи костела в Почунеляй (к западу от Крякянавы). Возможно, существовали и другие Ляуды. Происхождение этих поселений трактуют по-разному. Ближе всех к исторической правде подошел, кажется, Г. Ловмянский, выдвинувший тезис о том, что мелкие владыки шляхетских “околиц” посажены там Вел. Князем еще в XIV веке и непрерывно участвовали в войне с крестоносцами. На них были возложены оборона и снабжение замков на Немане. Пока кшижаки беспрестанно опустошали владения на правом берегу Немана до самой Велюоны, Ляуда и местная шляхта из Дотнувы предоставляли замкам своих людей. Вплоть до XVIII века из этих шляхетских селений складывалось хозяйственное пространство Велюонской земли».

«Паны почише, чем Ляуда» означало, что на общественной лестнице они находились выше владельцев «застенок», но ниже аристократии. За точность не ручаюсь, ведь усадьбы «околиц» по площади были неодинаковы, а кроме того, всех тамошних можно было счесть «Ляудой» в давнем, широком значении слова. Моя мать родилась там же, где и ее мать и где полагалось родиться мне, в имении Шетейни, то есть Шетеняй, на левом берегу Невяжи в 3 км от Свентобрости, она же Святой Брод, недалеко от Ляуды, у Зигмунда Куната (а фамилию эту писали порой с двумя «т», как упомянутый в *Lietuvių enciklopedija* Станислав Кунатт, эмигрант, экономист, профессор Польской школы в Париже) и Юзефы Сыруть. Относится ли приведенный ниже документ 1595 года, опубликованный в *Istorijos Archyvas*, т. I, составитель К. Яблонский, Каунас 1934, к моим предкам, с уверенностью не скажу, а что касается правдоподобия, то пусть фамилия Сирутис и встречается среди крестьян, в новейшее время других дворян Сырутей в округе, да и вообще нигде, не находилось. В любом случае, документ этот говорит в пользу пребывания семьи в «Ляуде». Писан «русской мовой», привожу приблизительную транскрипцию:

«Я, Себестыянъ Юрьевичъ Волоткевича, возный господарски земли Жомойтское, волости веленской, сознаваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ я маючы пры себе стороною двухъ шляхтичовъ, землянь господарскихъ земли Жомойтское, именни нижей в семь квите описаныхъ, ижъ в ходу теперешнем тисеча пятсотъ деведсять пятомъ месеца генвара трынацатого дня былъ есми въ справе взятый за ужитьемъ землянки господарской земли Жомойтское паней Барбары Войтеховны Кровшовны Яновой Венцлавовича Сирутевой въ именью, въ дворе ее, лежачомъ въ земли Жомойтское въ волости веленской, прозываемомъ Лявды, которая пани Сирутевая передо мною вознымъ и стороною двема шляхтичы тотъ дворъ свой Лявдевский зо всимъ про всимъ, от мала ажъ до велика, зо всемъ будованиемъ дворнымъ и всеми кгрунты оремymi и неоремymi, лесными и сеножатными, зъ челедью дворною и зъ людми тяглыми и данники и зо всякими ихъ повинностями, къ тому именью прыслухаючыми // и прыналежачыми, водлугъ листу своего вызнанного вечыстого въ мощъ, въ держанье и уживанье вечыстное подала и поступила сыну своему пану Адаму Яновичу Венславовича Сируту, землянину господарскому земли Жомойтское, который панъ Адамъ Сирутъ черезъ мене возного и сторону въ тотъ двор помененый, въ именье, въ люди увезалсе и въ интромисию вшоль, и я его увезаль и меновите за прозбою и поступленьемъ пани Сирутевой къ тому именью прыслухаючыхъ всихъ подданныхъ и челедь дворную списавши в томъ квите моемъ, место инвентара реестрового за реестръ и инвентаръ почытаючы, такъ есми выменоваль...» (следует список).

Вендзягола, питовское Ванджѣгола, местечко по направлению к югу от Кейдан, в ковенском уезде, 25 км от Ковно, 12 км от Бабтай, 11 км от Лабунавы. Под Вендзяголой понималось еще одно скопление шляхетских хуторов и застенков

неподалеку от Ляуды. В *Lietuvių enciklopedija* читаем об истории Вендзяголы: «В качестве поселения В. известна уже с XIV века. Упомянута в хрониках крестоносцев как Вандягель, Вендягель, Вендигалин. К западу от В., во второй половине XIV века, через Бабтай, Арёгалу, Батакяй шла широкая линия укреплений, защищавшая густонаселенный центр Жмуди от набегов кшижаков. На небольшом отрезке этой линии между В. и Лабунавой, длиной 8 км, в 10 местах высились заслоны из поваленных деревьев, колючими сучьями и острыми верхами обращенные к неприятелю. В 1382 или в 1384 вице-комтур Рагнита М. Шульцбах, вторгшийся в Литву с целью помочь Витовту против Скиргайло, наткнулся в В. на толпу людей, собравшихся на праздник, и был вынужден биться с ними. 120 литвинов погибли, сражаясь за свое святилище, 300 человек были взяты в плен и вывезены за Неман.

Для нужд растущего поселения Ян и Мариона Ростовские (Ростворовские) из рода Лопатинских поставили в 1664 деревянную церковь Св. Троицы.

Еще читаем, что в 1863 викарий вендзягольский Антоний Козловский был арестован и выслан в Сибирь. Находим и следующую информацию: «Усадьбу в В., принадлежавшую ранее Хлопским, в 1890 купил З. Гартовский. В 1918 ополченные жители В. и окрестностей решили провозгласить независимую “вендзягольскую республику”».

Отец мой родился в Сербинах под Вендзяголой у Артура Милоша и Станиславы из рода Лопатинских. Сестра моей матери вышла за Здислава Юревича (Юриевича, *ie* причиняло немало хлопот, тем более, по-литовски *ie* читается *ия*) из-под Бабтай. Тем самым я показываю, что в областных архивах повторяются одни и те же фамилии.

Опитолоки. В старых документах обычно так. Литовское «Апиталауки». Костел и усадьба 5 км севернее Кейдан, на левом берегу Невяжи. *Lietuvių enciklopedija* описывает:

«На склоне холма стоит небольшая церковь в барочном стиле с одной башней, воздвигнутая тиуном Эйраголы (Арёгалы) и судьей Жмудским Петром Шукштой в 1635, рядом несколько зданий, а в 0,5 км от берега — дворец в парке. Дворец конца XIX века в духе классицизма, образующий в плане букву Н, с коринфскими и ионическими колоннами и тремя ризалитами. В обрамлении окон присутствуют элементы барокко и ренессанса. В интерьере заслуживают внимания изящные печи и гипсовые розетки. В вестибюле еще во время II мировой войны можно было видеть мебель (стол, кресла, одежный шкаф, вешалки и пр.) из рогов оленевых. Граф Генрик Забелло купил ее за 5 тыс. рублей на Всемирной выставке в Париже. Часть гарнитура экспонируется в музее в Кейданах. После войны дворец был превращен в дом престарелых. В 1802 в имени основали школу. О. поселение древнее, в Ливонской хронике упомянуто уже в 1371. Впоследствии О. принадлежали Петру Шукште, который построенному им же костелу передал три уволоки земли. Казимир Завиша затем подарил алтарь и, после перестройки церкви, заложил семейную крипту. О. принадлежало и Карпам, и Тышкевичам, а с конца XIX века — Забеллам, забросившим центральную часть усадьбы и владевшим запущенным парком вплоть до 1940 года».

К Опитолокам восходит моя крестильная метрика, на русском языке. Во дворце не был ни разу. Петр Шукшта, явно тот же судья Жмудский, сделал опись своего движимого имущества, каковую привожу по *Istorijos Archyvas*, 1934, дабы уравнять в правах год нынешний с годом 1587-м:

«Реестр описания вещей движимых, в доме Опитолоцком будущих, и тех, что мной в Варшаву имеют взяты быть, год тысяча пятьсот восемьдесят седьмой, июнь, семнадцатое.

Плащ “делия” фалендыша коричневого, кунной подшитый; делия таковая, лисой подшитая; делия черная с долгим ворсом; делия каразии зеленой гишпанской. Жупан дамаста

серого; жупан китайчатый тканый; жупан фалендыша коричневого; также вишневого. Убор каразии красной; убор каразии зеленой.

Ложек двенадцать, в них пять гривен без трех лотов; ложек шесть, в них две гривны; кубков четыре, в них четыре гривны; ковшик водочный о восьми лотах. Сабля пани Беняшевой в двенадцать дланей.

Олово: тазов больших три, мис средних десять, полмисков одиннадцать, подносы два, тарелок // две дюжины, отдельно тарелок девять, кувшин ручной, ящик для масла, бидонов больших и малых шесть, кружек четыре, фляга большая, фляга средняя, фляжек четыре, солонка одна, подсвечники два.

Медь: мисок три, бидоны два, фляга одна, котелок один, ендова одна, чарка одна, ступка одна, подсвечников бронзовых семь, с винтовой ножкой два; котел пивной, другой в Орвистове; котел средний, другой в Орвистове; котел меньший, другой в Орвистове; треноги две; чрен большой один, чренов малых двое; сковороды две; горшков с чугунами шесть.

Больших железных цепей две, цепь на кухне.

Доспехов четыре, панцирей четыре, наручей четверка, шлемов четыре, шашек новых две, мечи длинные два, обычный один, пистолей новых две, третья старая, ручница на птиц пана Миколая Гинейта, ручниц обычных три, ошеп один, тарч один.

Седел гусарских двое, ярчак один, вожжи одни, сбруя одна, хомутов три. Карета новая кованая, коуч мадыарский, карета старая кованая, воз некованный. Колпаков турских двое.

Инструмент ткацкий. Инструмент кузнечный.

Лошади: иноходец сивый дрыгант, иноходец сивый старый, пристяжных вороних пара, пристяжных буланых — каурый, жеребец орвистовский, кобыла, дрыгант соловый, кобыла, гнедой.

Пану Стецкому коп полтора; пану Шембелю коп двадцать за четыре чарки; пани Регине коп двадцать; пану Томашу коп семь за пояс серебряный золоченый; у пана Бобровницкого коп восемнадцать; у пана Пелютя коп пятнадцать; у брата пана Войтеха коп четыре; у пана Борисовича коп девять; у пана Миколая Кончи коп шесть.

Сундук // с грамотами опечатанный, в коем грамоты опитолокские, орвистовские братнины опечатанные, а привилегии медингянские на пергаменте и прочие грамотки малые старые у пана брата.

Жита на пашнях, как опитолкской, так и орвистовской посеяно споро, также и яровых, с чего, даст Бог, в следующем году долги заплатим.

Скот опитолокский. Волон пахотных восемь; у Павла в пахоте один, у Михала орвистовского один. Коров двенадцать, отдельно приплод. Овец взрослых двадцать, ягнят четырнадцать.

Скот орвистовский. Волон пахотных восемь; у Томаша подданного два: из них один имеет быть дан о будущем годе в пашню. Коров дойных и яловых семнадцать. Овец с баранами сорок и семь. Отдельно приплод, телицы, телята годов этого и того.

Другие вещи мелкие, также постройки письмом не описаны. Реестр сей собственноручно мною записан и печатью моей опечатан есть.

К сему реестру печать притиснута одна, а от руки дословно: Петр Шукшта рукой своей».

Свентобрость. Литовское «Свентыбрастис». Слово *brasta* означает «брод». Костел и несколько домов на левом берегу Невяжи, при той самой дороге, что ведет через Опитолоки, только дальше на север, 15 км от Кейдан, всё еще в Кейданском повете. Данные *Lietuvių enciklopedija*: «Хотя окрестности С., такие, как Калнаберже, Слапаберже, Дотнува были известны Ордену и терпели от него во время набегов на

Литву, названия С. хронисты не упоминают. Считается, что в С. некогда было языческое святилище. Вокруг произрастал гай дубовый; до II мировой войны сохранялись в нем 5 прекрасных старых дубов, чья высота достигала 37 м, а обхват 3,5–5,8 м. Свое название С. получила, скорее всего, от слова *šventas* (святой) и речушки Браста, при которой она, собственно, лежит. Первый деревянный храм Преображения поставил в 1744 владелец усадьбы Завишин, Игнатий Завиша. В 1880 Яновский его расширил, добавив крыло и колокольню. В 1915 русские сняли с нее два больших колокола и вывезли в Россию. В 1863 рядом с С., у деревни Данилишкяй, русские войска бились с повстанцами: в бою погибли 25 повстанцев, 11 были ранены, 8 взяты в плен. 20 октября 1863 ксендз А. Мацкевич, командуя отрядом повстанцев, напал в этом месте на русских и захватил, вместе с прочей военной добычей, 20 пудов пороху. Вблизи костела С., возле Невяжи и речки Браста находятся могилы павших инсургентов. В память о них был установлен деревянный крест, а в 1928 его место занял монумент из бетона. В 1928 костел был отремонтирован. С. является филиалом прихода Опитолоки».

Проходя что ни день по улице, откуда виден залив Сан-Франциско, заглянул в Музей Современного искусства на выставку архитектуры будущего. Там были модели зданий, каждое из которых вмещает миллион (1 000 000) жителей. Поэтому я сомневаюсь, что храм Сивиллы устоит и в нем будет висеть мой правый ботинок, а из-за левого станут интриговать. В то же время нужно считаться с любопытством компьютеров, горстка которых будет размышлять надо всем, моим происхождением в том числе, наткнувшись на трудный для них вопрос, к какому же отечеству меня приписать. Учитывая определенные, гм, достоинства их интеллекта, хлопоты легко предвидеть, ведь историческая Самогития, она же Жемайтия, она же Жмудь, простиралась от Балтики до Невяжи, на чьем восточном, т.е. левом берегу, начиналась

Аукштайтия, а я родился на левом. Возьмем, однако, в расчет связи с Ляудой, подчиненной замку в Велюоне; тот бесспорный факт, что Вендзягола есть Жмудь; и тот, что Петр Шукшта из Опитолок, лежащих на левом берегу, был судьей жмудским. Но прежде всего разумный компьютер не преминет сравнить ландшафты и климат (подсказки к сбору данных обойдем молчанием), что и позволит решить, считать ли чьей-то родиной Жмудь или Аукштайтию.

В 1-й Виленской мужской гимназии им. Сигизмунда Августа, на Буффаловой горе (угол Малой Погулянки), в году 1929-м председателем моей экзаменационной комиссии был профессор Университета Стефана Батория Мариан Массониус, старый, длиннобородый, лысый, тот самый, о котором в книге *Słownik pisarzy*, Варшава 1971, читаем: «Что касается философии польской, Массониус утверждал, что польский ум имеет основу эмпирическую, а способ мышления индуктивный, “спекулятивному, а в особенности фантастическому мышлению вовсе не дружественный”. Типичным для польской мысли считал эмпиризм и позитивизм. Польская метафизика возникла под влиянием романтической литовской ментальности».

А нынче мы связаны все ритуалом.
В стекле? в янтаре? музыкальная мета.
Ни то, что было, ни то, что стало,
А только то, что есть в конце света.

ВЕЛИКОПОСТНАЯ ПЕСЕНКА

Сплетены мои руки.
Заплелись мои ноги.
Зренье, слух не солгут мне,
Звук, вкус и цвет не дороги.
Ни далеко, ни близко.
Всё и высоко, и низко.

Тропы торены мною,
Познал я пламя земное,

Но, судия другому,
Остался себе незнаком я.
В тоске, а то и в отчаянии,
Что смысла в знаках не чаю я,
Что поднятому среди ночи
Слова не сулят помощи.

Зерцало, на стенах тени,
Это мое прозрение.
Твердым лицо считают,
Только оно растает,
Взорвалась и погасла
Звезда над собственной сказкой.

ЗАМОРСКАЯ ПЕСЕНКА

На одном из редчайших африканских наречий
Я написал свою книгу.
Божественная комедия — и та человечья,
Ежели племя вымерло.

Затянутый в культуру мелких архипелагов
Среди чешуек морского змия,
Разглядывал себя, как остров и облако,
Сбоку, в то же время издали.

Хоть не вполне, но исполняется исполнимое.
Тот студентик из Вильно, ему мечталось иное.
Кто мало взял, у того отнимется.
Триумф не зачтен, поражение неуверенное.

Достойнейшие возвышали свои голоса.
Имя их обвили травы.
Один остаюсь счеживать порядок из хаоса
// Разумом отнюдь не здравым.

Парит надо мной запоздалый орел имперский,
Глубинка горит, планета в родах.
Горе несчастным, объятым вулканическим блеском
Непостижимой природы.

Кому хулить меня за то, что отчизну
Везде и нигде искал,
Мешая диалекты, провинциализмы
С океанским хоралом?

Этот прозрачный камушек в горсти,
В нем мы и колокол с хором,
Песнь тоже в нем, и любезные гости
С танцами и разговором.

Пора уже, учитывая, что задумывались мы над этим достаточно долго, сообщить наше мнение о появляющемся тут персонаже, без особой симпатии, но и без предвзятости. Мы не рассчитываем дать полный, так сказать, анамнез, что в подобных случаях не представляется возможным. Надеемся тем не менее, что беспристрастность нас не оставит.

Это был юноша в меру способный, но начисто лишенный таланта.

Другие были талантливы, к примеру, друг его, поэт Теодор,
Что много позже поселился в той же самой кирпичной
коробке, Подгорная 5,

Где он небрежно взрослел в мерзком жилище с фикусами.
Там-то он и схлопотал три пули в живот с близкой дистанции.
В результате этого не пересекал столько границ.

Не цеплялся за деревца на улицах мегаполисов, когда
дома плывут и валяются

На бегущих, кричащих в ужасе: «где я?», «где я?».

Не развил множества умений, полностью бесполезных,

Притом вредных, отбирающих и волю, и время.

Вполне обошли его и шальные залеты дружбы,

// Равно как и кара алкогольного бреда.

А юноша наш отнюдь не пальцем был сделан.
Эго обитало в нем грубо и безрассудно.
Жаждал любви, умиления и шепотов похвалы,
Но насытиться он смог бы лишь властью,
Призванный тираном Сиракуз
Строить идеальное государство.
(Чтение тех лет *Волшебная гора*:
Стоял на стороне Нафты, апологета террора).

Однако, несмотря или же как раз по этой причине,
Внутри него гнезвился один только страх.
Страх перед взглядом, касанием, людскими обычаями,
Страх жизни, превзошедший страх смерти,
И гордая, едкая прихотливость.

Размышлял, значит, наш юноша о распаде семьи.
О том, как разжижается кровь жемайтских магнатов,
Приводя к мутации калек и уродов,
С душой раздвоенной в жадном и глупом теле.
Считал отца просадившим жизнь.
Ведь поставил крест на Саянских горах и Бразилии,
и Ледовитом океане,
Чтобы остаться уездным инженером
И тешиться водкой по объезде размытых трактов.

Вот так на юношу снизошло вдохновение.
Что толкуется обычно превратно.
Ритм, камлание не приносят слов.
Искал себе и искал, шли годы.

Другое дело талант. Талант имелся у Теодора.
Но талант манит плодом незрелым.
И сегодня, когда в тени утонул Теодор,
Когда в Канаде от собственной руки пал Пранас,
А Ника тихо старится и умрет в Австралии,

Напомнят о нем лишь четыре его строфы.
Надиктованные — ибо не пальцы ловко
Сочиняют стихи, но воды, деревья
И небо, что дорого нам, пускай и темно,
Которое видели наши предки и предки предков,
И предки тех предков, от начала времен.
А здесь помещаем одну строчку, эпитафией:
«Последний бедный бард Великого Княжества».

* * *

*ЛИТВО, отчизна. Молитве той нашей
я беззаветно и радостно вторю.
Скупая земля репьев и ромашек,
светлых костелов на выходах к морю,
небо печально, а мгла широка
и озера стоят в тростниках.*

*ЛИТВО. Губами сухими, пустыми,
утратившими надежду и веру,
шепчу и зову я твой чин, твое имя,
а ветер глубокий в тополях веет
и листья сбивает с гнутых стволов.*

*Скудной тропой, уходящей в трясины
домов, утоңувших в тени своих стрех,
плетется под вечер с поля скотина,
а солнца огромный и красный орех
в тучи густые льет теплую кровь.*

*ЛИТВА. Отчизна упрямых ненастий,
ветрами расцарапанный щит,
богов и столетий задетая властью,
достань из облачных ножен мечи,*

*сыпани градом, пусть хлещет ливнем,
пламень уст и ярость верни нам!*

Молчит.

Т е о д о р Б у й н и ц к и й

Восьмой том *Библиографии польской литературы «Новый Корбут»* приводит в статье «Юцевич, Людвик Адам» следующие данные: «Псевд. и крипт.: L. A. J.; П. из Пок...; Людвик из Покевья. Поэт, этнограф. Род. 1810 в Покевье, Жемайтия. Изучал теологию в Виленской семинарии. В 1837 принял духовный сан и служил викарием в Свядосце. Ок. 1939 перешел из католичества в православие и женился. В 1841 издал литературный альманах на польском языке Linksmine (“Радуга”). В 1844 получил место школьного учителя в Лепеле, где скончался в 1846».

Кс. Юцевич считается одним из первых литовских этнографов. Он собирал песни, пословицы и предания. Писал по-польски, переводя при этом на литовский Мицкевича и других поэтов. Имение Покевье, откуда он родом, находилось в Шяуляйском уезде. Данные «*Корбута*» не позволяют судить ни о причине перехода в православие, ни о роли, какую сыграла здесь музыка. Викарий из Свядосце, похоже, не знал, что мгновения, проведенные с особой противоположного пола за клавесином, как и совместное чтение стихов, ведут к пагубным последствиям в духе Паоло и Франчески из дантовского *Ада* или же Густава из *Дзядов*. Так что, частенько наезжая по соседству в семейство помещиков Журавских, без памяти влюбился в их музыкальную дочь Мальвину.

С некоторыми сочинениями кс. Юцевича я познакомился еще в детстве. Его «*Литва, ее древние памятники, нравы и обычаи* / описанные Людвиком из Покевья», Вильно 1846, славит во вступлении литовский язык, сожалеет о том, что чужая речь и обычаи возобладали в ущерб собственным, и

перечисляет вкратце «достоинейшие труды, на литовском языке публике представленные», начиная с протестантских переводов и переложения *Постиллы* Якоба Вуека, сделанного ксендзом Николаем Даукшей, посвященного епископу жмудскому князю Мельхиору Гедройцу и отпечатанного в типографии Иезуитской Академии в Вильно, 1599. Автор продолжает: «Равно высокие пред родной литературой заслуги имеет *Ксендз Константин Ширвид*, иезуит, прекрасный литовский филолог и проповедник. Стиль его проповедей отменный, язык всегда чист и от всяческой иноземщины избавлен». Ведь «не у одних только протестантов были усердные сеятели веры Христовой, друзья люду сельского. Не так давно и у нас, в Римской Церкви, был муж великий, благородного рода, потомок литовских монархов, почтенную старость на службе алтарю встретивший, муж по призванию, по святости, по самому облику своему (слова одного из больших польских писателей), по власам серебряным, венчавшим патриархальное чело и спадавшим на плечи; досточтимый Священник. Жмудской овчарни пастырь Юзеф Арнулф, князь Гедройц! Ему мы переводом Нового Завета на родной язык обязаны».

Автор воздает почести и поэме «Времена года» Донелайтиса, отмечает современных ему поэтов, пишущих по-литовски: Симона Станевича, Дионисия Пашкевича и ксендза Антония Дроздовского, кстати сообщая: «Исторических трудов на литовском языке до сей поры не имеем вовсе. Слышал только, что *гр. Ежи Плятер* написал на языке национальном Литовскую историю, по причине ранней смерти сего молодого любителя отеческого наследия еще не изданную. Тешим себя надеждой (только бы не напрасной), что достойная супруга усопшего решит не скрывать остальные манускрипты, но в скором времени опубликует. Станут они прекраснейшими цветами нашей литературы, а свитый из них венок украсит храм памяти и славы!»

Супруга, впрочем, венка не свила, ибо, позволим себе догадку, относилась к тем равнодушным, которых кс. Юцевич тщетно пытался тронуть таким обращением:

«Однако к несчастью нашему, родной язык мало кто понимает, а еще меньше таких, что говорят на нем, доднесь не можем мы избавиться от того пагубного предрассудка, который бытует в отношении народной речи. Сегодня даже старейшины литовские, увы! пишут не по-литовски! Но настала пора проститься с застарелым укладом, пора опомниться и к своим знаниям иностранных языков прибавить знание того, коим пращуры наши рекли; — *ибо язык есть достояние народа, и никто не должен забывать наречий отцов своих!*»

Я есмь прибываю, отче Людвик, застучал дятел на ели.

Годы шума и ярости выгнали жеребца из стойла.

Поотвык, видишь, от канделябров с чашками и свечей.

Смешно и жалко всё это, выпавшее на долю тебе и мне.

Ни один вайделот не возвратился к речи отцов своих.

Кто раз позабыл ее звуки, тот забывал их навечно.

А было таких и после немало, тебе неведомы их имена.

Пан Нарвид вот, например, пан Гомбрысь, обое суть

жмудины.

Не литовские мы поэты, ни я, ни литвин Теодор.

Лишь в дальнем краю, со словарем греческого, санскрита,

Я тер изумленно лоб, ибо когда-то слышал это наверное

Над рекой в час жатвы, на кладбище в День всех усопших.

Там долог был мой век, много раз по сто лет.

Челядь и люди тяхлая, держу ответ за их судьбы.

Думал ли кто-то, кроме меня, что звался раз Ясилий

С женкой, с сыном Крыком, с четверицей дочек,

И Матулис, Пранялис, Амброс со сестры: Райна,

Полония, Досюда, и Буйкис, и Жемайцевич

С женкой Касюлей, и Лавр, и Милошайтис?

Кто просеивал в руке их ставший буквами прах?

И не было это, отче Людвик, смирением ложным
Или, позволь сравнение, разгоном облаков.
Ведь источают устои соблазн суеты, шебета и тепла.
А не такова правда земли, вошедшая в тело и в кровь.
С памятью многих жизней уж не был столь безоружен.
Я мог выбрать малое, ибо большое проходит само собой.
Сложим те мои книги туда, где и твои присловья,
На полках, пахнувших имбирем, к Литовским статутам.

Дионисия Пашкевича, который свои стихотворения подписывал как «Дионизас Пошка», Людвик Адам Юцевич называет «ревностным блюстителем чти народной». Сей же-майтийский шляхтич основал археологический музей вну-три дуба Баублис, росшего в его поместье Биётай.

*Стоит ли Баублис огромный, в чьей громаде
Веками выдолбленной, как будто в палисаде
Могла бы дюжина людей усесться рядом? —*

спрашивал старейшину-вайделота Мицкевич, хотя не мог не знать, что Баублис засох и был спилен в 1811 году.

Ксендз Людвик, будучи лестного мнения о фрашках Пошки, приводит одну из них, «из собственных уст поэта услышанную»:

«Поводом для нее послужило следующее событие: некие соседи снарядили кулиг к Пашкевичу. Передние сани опрокинулись, а сидевшая в них дама потеряла мешочек с табакеркой чистого золота, что была у нее *в фаворе*. Ехавший сзади офицер Линде его не заметил и раскрошил вдребезги. По приезде к литовскому пииту она дама в великом горе поведала ему полностью печальную историю своей табакерки. Пашкевич терпеливо выслушал историю до конца и молвил: Если ты, Пани, так страстно жалеешь табакерку свою, давай поставишь на месте, где сия кончину приняла, памятник, я же рад при случае услужить эпитафией:

*Че бува табакера,
О дабар чёс нера.
Нес тас Линде пасцутис,
Праважяво непаютис».*

Правописание родной речи здесь не на высоте, суть не слишком изысканна. Примерный смысл: Тут была табакерка, а теперь ее нету. Ведь тот Линде безумный, проехал не взирая.

На Большом ковенском гостиньце. Где твякают тюлени
за тучей
И брамой отвесных скал идут корабли из океана.
В этом бренном бытии собственного пилигримства.
Не по наущению человеков и вовсе даже не подстрекаемый
ими,
Ведаючи, что ничему на свете смерти отнюдь не пограть,
Плюю на грядые времена и отдаю в потребу людскую
Владение мое, со всякой пустошью, оному надлежащей,
С лесами, гаем, озерами, с зарытой лентой прелестниц, с их
табакеркой чистого злата,
Со мной, некогда блуждавшим от местечка к местечку,
Со всем, что моей рукой подписано есть.
Куда бы ни случилось попасть, нам или потомкам нашим
в чужие отправившись край,
Хоть бы на какой-нито паршивой бумаге заховались эти
стишки,
Свидетельством, что неча переть против рожна,
Ибо хотели-то как лучше для себя и выйде-от не для себя.
Принятое в горечи и нищете, обернулось вдруг во славу.
Из едва вымолвленной жалобы возрастала благодарность,
Абы и нам свободным в защите и вызволении участие быть,
Возлюбившим и размиловавшим во слове Божиим,
По примеру тех самых старых и набожных наших предков,
Как литовскаго, так и русскаго народа,
На непаханом нашем просторе, избавленном от мирских
тягот.

ЗАМЕЧАНИЕ. Употребленные здесь обороты и формулы почерпнуты из завещаний XVI века и дарственных протестантским общинам, а также привилеев, которыми король Сигизмунд Август, согласно *Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae*, изд. усилиями Синода Литовского евангелическо-реформатского Единства, Вильно 1911, уравнил в правах католическое и не католическое дворянство Великого княжества.

IV. ПО-НАД ГОРОДАМИ

1.

Если я и в ответе за что-то,
То никак не за всё.
Идей Коперника не поддержал.
По делу Галилея я не высказывался ни за, ни против.
Мой флот из пруда ни разу не вышел в моря.
Когда я родился, по рельсам шуровали паровозы,
Перемешивая кашу из колес и шатунов.
Изрядно вырубленный лес
Тонул в широком эхо скорого поезда.
Губернию населяли люди, господа и евреи.
На лошадях везли керосин, рыбу и соль.
Но в городах уже жгли электричество.
Кто-то построил беспроводной телеграф.
Книги были написаны. Идеи рассмотрены.
Топор занесен над стволом.

2.

«Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен»: так начиналась моя жизнь на планете Земля. Позже я стал учителем в городе у большого моря и в данный момент отворачиваюсь от доски, на которой они могут разобрать мой корявый почерк: Максим Исповедник и даты 580–662. Множество лиц передо мной, а те юнцы и юницы, что родились, когда я сочинял первую строфу на манер траурного плача, успели повзрослеть, пока я заканчивал вторую. Проведя меловую дорожку, я говорю им следующие слова:

«То, что род наш постигли судьбы особые, от которых Максим Исповедник пробовал нас уберечь, в правдах ума прозревая дьявольский искуc, сомнению не подлежит. Но если со всех сторон нам предписывают четко вникать в

И в шуме стелющейся пены изяшно оседает на пляж.

Они бегут, их мириады. Вдоль бортов, на мачте их узорная нагота.

Палуба скрыта роем, раскладывающим и складывающим крылья,

Мужчинами и женщинами конца двадцатого столетия.

Проснувшись, думал, какой, да и есть ли в том смысл.

5.

Жизнь невозможна, однако выносима.

Первый весенний выпас скотины. Язык меня подводит

И не знаю, как звать обнесенную жердями между

От последних изб вплоть до самого леса.

(Вечно мне не хватало слов, и вовсе я не был поэтом,

Если поэт таков, что радуется любым словесам.)

Стало быть, старший, бача с его сумами,

Обутками на ремнях, с длиннейшим кнутом.

При нем двое подпасков. Березовая дуда у одного,

Подвязанный каким-то шнуром пугач у другого.

Я их видел. Точно, у Ширвинтов либо Гринкишек.

Еще до того, как вступил в свой монастырь,

В нимб над вечно ясной известковой колонной,

Сияющий от царственных франков до сей поры,

Чтобы трудиться здесь ради дня понимания,

Или хотя бы момента, когда уже явятся

Также и эти трое, в редком единстве.

6.

// Долго научался речи, теперь молчу, пусть дни уплывают.

Дню своего рождения не устаю удивляться, однократному, от начала до конца света.

Беспечной женщине, что со мной едина, грежу о жалости к ней, старый человек.

Ее смешные платья, ее танцы, так прочно забыты, а так близки.

Звать ее отличным от прежнего именем, тем неповторимым,

То же самое, что себя самого смерить, бросить, счесть.

О, что и когда стало с *principium individuationis*?

Где запах аира над рекой, мой и ни для кого больше?

По каким горелым лугам бежит она со мной на руках,

Обороняя сынка пред зубами зверя?

Растревожена моя память, кем являлся я наяву не знаю.

Исполнил ли я что-нибудь, послужил ли кому?

И она, посвящающая меня Черной Мадонне,

Была ли понята, с какой стати?

Безрукий маг со своей коллекцией бабочек,

Селянин на озере, гордый наилучшей в этих краях сетью,

// Огородник, взрастивший плод земноморья.

Все отнято. Все перечеркнуто. Драгоценности наши.

Чтобы на суде у нас остались лишь мы в темноте

И шаги ее близешенько, знак, что простила.

7.

Пан Иероним взял меня под руку и проводил к парку,
Где от поворота аллеи, возле мхом поросшей Цереры,
Открывался вид на луга, реку и долину,
Аж до костельной башни в местечке за бором.
Пошелкивал табакеркой и рисовал неспешно
Случаи из жизни в Неаполе и Петербурге.
Шутливо описывая разные земли,
Всего охотнее провинцию блат, Полезине,
По которой из Венеции ехал в Равенну.
Склоняясь к мысли, что тамошние иезуиты
Поименовали болота севера моего: Полесье.
То вновь и вновь поминал графа Сен-Жермена
И книгу Иероглифических фигур Фламея.
Над нашей землей как раз заходило солнце.
Но едва он убрал в карман свой платочек,
Вдруг отозвались птицы как на рассвете
И в полном блеске разразился полдень.
Всё быстрее и быстрее. Сто лет, в одночасье.
Где ты, пан Иероним? Где я? Всё здесь другое.

V. ПЕРЕМЕНА

1.

Жизнь невозможна, однако выносима.

Чья жизнь? Моя, но что это значит?

На перемене, уплетая бутерброд из вощанки,
Стою у стены в пухлощеком раздумье.

И был бы тем, кем никогда не был.
И взял бы себе то, чего не смог взять.
Галок в снегу за окном вспомнил бы другой я,
Мыслящий не теми моими словами.

А если скажут, что я слышал один лишь шум реки Гераклита,
Уже хорошо, ибо вслушивание меня утомило.
В темных залах писари сводили баланс на счетах.
Или это гнали стада в дымах пожаров.
Сброшенная одежда форму ключиц и рук еще на миг
сохраняла.

Плюшевого медвежонка осыпало хвоей.
А рядом новые народы с тьмой мечей и повозок.
Что бы такого я мог делать в войсках остроготов?

Вот бы была нежность явлена прежде.
Вот бы я шел, счастлив, улицей Портовой.
(Которая не вела, кстати, ни к одному порту,
А к мокрым бревнам на лесопилках).
Вот бы я ехал, в числе отцов города, с посольством.
// Вот бы мы сделали мировую с Феррарой.

Кто родится раз на земле этой,
Может стать тем, кого во сне навестит Изида.
И пройти обряд посвящения в тайны,
И после сказать: я видел.
Видел лучезарное солнце в полночь.
Переступал порог Прозерпины.
Все элементы прошел я и возвратился.
К богам подземным и богам в небе.
Повержен лицом к лицу.

Или же гладиатор, раб
Под надписью на гладком камне:
«я не был. я был. нет меня. нет у меня желаний»

2.

— Достойный путник, ты откуда к нам прибыл?

— Столица моя во впадине меж лесными холмами,
С укрепленным замком на стрелке двух рек,
Слыла собранием нарядных храмов:
Костелов, базилик, синагог, мечетей.
Край наш жил льном и житом, а заодно сплавом леса.
Армию нашу составляли
Полк уланов, полк татарской конницы и драгунский полк.
В нашей стране почтовые марки
Изображали фантазмы,
Вылепленные во время оно парой умельцев,
Друзей или врагов, Пьетро и Джованни.
В школах наших зубрили догматику,
Апологетику, афоризмы из Тита Ливия и Талмуда.
Аристотель ценился
Чуть меньше, чем бег в мешках и прыжки над костром
// В ночь на Ивана Купала.

— Достойный путник, ты из какого зона?

— Из комичного. Поскольку забыт там трепет.
Осталось только смешное как назидание потомкам.
Смерть от раны, в петле, от голода — одна и та же смерть.
Но шутовство обильно и вечно ново.
Участвовал, повязывал галстук,
Неведомо зачем, и танцевал танцы, неведомо зачем.
Клиент, приобретатель свитеров и фиксатуара,
Имитатор, робкий завсегдаятай,
Франт, тронут своим отраженьем в витрине.
Заурядным был мой век и заурядным разум.
Шкура неведения выросла на мне.
Хотел вообразить другую землю и не сумел.
Хотел вообразить другое небо и не сумел.

3.

Таково соглашение и таков завет
Между всеми, кого нашло и отпустило время.
Стуча киркой, накручивая бигуди,
Идя кривым тротуаром по срочному делу,
Калеки, блудницы, хитрованы, владельцы.
И срока давности не имеет град их,
Хотя никто уже не продаст и не купит,
Не выйдет замуж, не возьмет в жены,
Невидимый в зеркалах ни себе, ни людям.
Их холст, шерсть, перкаль и сатин,
Высланные с опозданием, им понятным,
Свиваются и мерцают, и шелестят
В невозмутимом свете фонарей или солнца.
Прощающие друг другу, прощены,
Мои совозвестники, нелюдимая свита,

Хоть неустанны в трудах на своих улицах и площадях,
Здесь и там (как это говорится) одновременно.

4.

Хотел величаться, славиться, матереть.
Но не в одном, скромных достоинств, месте.
Пришлось бежать в края, столицы которых
Исполнены бульваров с их яростным блеском
И колонн, более-менее напоминающих Акрополь.
Ценить расточаемые там хвалы я так и не научился.
Из каждой формы выпирала песчаная плоскость.
Убегать пришлось дальше, в центр, Гигаполис,
Веря, что это центр, хоть не было никакого центра.
Над утраченными моими иллюзиями рыдал бы,
Когда бы сохранился обычай оплакивать вины.
Разве что мог взять и челом о паркет ударить
И обратиться к своей молчащей свите:
Ответьте мне, зачем я, почему именно я?
Где ж те другие, любившие искренне, сильно?
Должен ли не желавший быть верным остаться верным?

5.

Давал я клятвы, но какие, вряд ли вспомню.
Серебряную лилию носил, да и золотую.
Присягал в ложах мистиков, в конспиративных клубах
Свободе, а возможно, что и братству.
Как о себе ни мни, мораль не твой удел.
Как не поддался я ни лозунгам, ни старшим.
В корнях древес ленивый гений места
Пожалуй что иначе рассудил,

Посмеиваясь над устоями моими.
Беседой важной занята о пользе смертной казни,
Дружина светлоглазая рассеянно взидала
На вставшего от их стола лютниста.
Играли в шахматы на исполнение приговора,
А мне казалось, что турнир затеяли со скуки.
Я так завидовал им. Совершенны.
Свободны от постыдной тайны,
Которую я никому не мог открыть:
Подобно деве моря в сказке Ханса Кристиана
Учусь ступать достойно, но шип боли
Напоминает, каково быть человеком.

6.

А Гигаполис что-то отмечал.
Процессия — и движение перекрыто.
Рывками продвигалась статуя бога:
Четырехэтажной высоты фаллос
В окружении толп приплясывающих жрецов и жричек.
И в христианских храмах не обошлось без богослужений.
Литургия представляла собой диспут
Под управлением капеллана в пасхальных ризах
О том, сколь реальна жизнь после смерти,
Что и решалось голосованием.
Я тогда собирался на вечернюю *party*
На склоне горы в стеклянном доме,
Откуда мы оглядывали пейзаж планеты:
Искрящаяся равнина из стали и соли,
Эродирующий материк полынный,
Белая обсерватория вдали на вершине.
В кардинальский пурпур садилось солнце.

В инъекциях, в растворах, в распевах, в печалях
// Не мне срывать бинты и снимать печати.

Ведь я был ребенком несмышленным,
И голоса мною лишь звучали.

Кто знает, зачем призвание дано нам
И житие одно — это мало ли,
Много ли?

VI. ОБВИНИТЕЛЬ

Произносишь имя, но оно никому не известно.

Либо оттого, что человек этот умер, либо же
Был знаменит на других берегах.

Кьяромонте
Миомандр
Петёфи
Мицкевич

Юным душам не интересно то, что было когда-то и где-то.

Где нынче учителя твои, твердившие:
Ars longa, vita brevis?

Заканчиваются ваши лавровые проделки.

Считаешь ли до сих пор: *non omnis moriar?*

О да, я не умру весь, они упомянут
Меня в четырнадцатом томе энциклопедии
После сотни Миллеров и мышки Микки.

В дороге. Далеко. Низкое солнце.
Сидя в канаве, ножиком откромсанную горбушку
Пихаешь в заросший рот. А там роскошь.

Кортежи. Лимузины. Юность в цветах.
Недавно ты был один из них. Теперь смотришь.
// Едут сыны и тебя не знают.

Не любишь этой темы. Вот другая. Ладно.
О диалогах, ни свет ни заря, двух схоластов.
Доброе и высокочтимое тело,
Я, дух твой, пустое, повелеваю.
Давай, встань и глянь, что за день.
Полно сегодня для тебя работ.
Еще мне послужи чутка, немного.
Что делается в твоих туннелях темных, я гадаю.
Гадаю я, когда откажешь мне от дома,
Когда твой космос рухнет и остынет.

Его ответ ты слышишь: треснет кость,
Кровь мутная накроет в резком пульсе,
Мерцающим боль отзовется знаком,
Рок, клетот, шепот мегалитов.

Признай, ты ненавидел свое тело,
В него влюбленный безответно. Не оправдало
Больших надежд. Это как быть цепью
Скованным с не очень крупным нервным зверем,
С безумцем, хуже того, со славянским.

Какая красота. Какой свет. Эхо.
Высунешься из окна поезда, а за будкой путейца
Дети платками машут, леса плывут. Эхо.
Или вот она, в расшитом золотом платье
Со ступеньки на ступень ступает, твоя любаша.

Картины земли, так сказать. Их мало.
Пустое движение не насытит.
Час весенних танцев, а никто не танцует.
Так ведь тебя туда калачом не заманишь.
Дух чистый и стыло бесстрастный,
Желал увидеть, надкусить, оценить и баста.
Ты целям не служил. Ты был словно прохожий,

Использующий глаз, руку, ногу
Как глянцевые экраны астрофизик,
Зная, что проникает в то, чего уже нету.
«Чуткие звери надежные». Как быть с ними,
Спешат, но их уже нет и в помине?

Помнишь ли свой учебник по истории Церкви?
Цвет тех страниц, запах тех коридоров.
Право же, ты был гностиком, маркионитом,
Тайным глотателем манихейских ядов.
Отчизной небесной исторгнутые на землю,
Заложниками погибели плотской
В лапы архонту Тьмы. Его престол, право.
И голубь, над Буффаловой горой,
И сам ты — его. Огонь, да пребудешь.
Вспышка — и развеяны основы мира.

Вина и грех наши. А кому повиниться?
Я дока в линзах твоих, в делах твоих,
В секретах твоих, в жизни, убитой
На своеволие не по своей воле.

Июньским днем, одним июньским днем,
На кресле под гирляндой из пионов и жасмина.
Ножонками болтаешь. Бьют в ладоши.
Пейзане и пейзажки распевают хором песни.

Так дойдешь до расстани. Будут две дороги.
Трудная и под гору, легкая, но в гору.
Иди трудной, Иванушко. Будут две дороги.
Трудная и в гору, легкая да под гору.
Иди в гору, глупый, и увидишь терем.

В гору под наигрыш бубна и флейты
Петляет дорога, а медовый запах всё сильнее.

Подсолнухи в ряд, тимьян на грядке,
Плетеные ульи, под медяной соломой.
Четыре башни, на запад, на восток, на юг и на север.
Когдаходишь в ворота, кажется, будто тебяждали.
Полная тишина в розовом вертограде.
Земля вокруг зеленых взгорий, обширна;
Зелено-синих взгорий, в заоблачных далях.

Хрухнет под ногой галька. И сразу летишь как во сне.
На мраморных мозаиках белые и черные грифы,
Паркет темнеющих зал. И впрямьждали.
Не должен говорить, кто ты. Здесь ты любим и известен.
Взгляды, объятия. Ах какие разговоры,
Какая вечная музыка племен спасенных.

И кем бы он ни был, тот провансалец, по одежаниям судя,
Слова его, обращенные к прекрасным дамам, старцам
и безбородым,

Они и твои также, вы издавна были едины:
«Вот меч, разделивший на ложе Тристана и Изольду.
Меж нашей жизнью и правдой зияют полюса и преграды.
В забвении земного пути даны нам покой и движенье.
В мольбе о дне последнем утешение наше».

Там не было замка. Ты просто слушал пластинку.
Игла, легко скользя по черному замерзшему пруду,
Вызывала на свет голоса умерших поэтов.
Ты же кривил губы:

— *Bestiality*
Bestialité
Bestialità

Кто из них меня избавит
От знаний, вложенных в меня моим веком?
От бесконечности плюс. От бесконечности минус.
// От пустоты, к звездам себя возносившей?

Горла.
Кашлем зашлись.
Пальцы вцепились
В мясо,
Что через миг жить перестанет.
Окорок
В судорогах.
Без звука.
За толстым стеклом.

Не ты ли за толстым стеклом, соглядатай?
А впрочем, это раньше, Экбатана.
Эдесса, если хочешь. Так или иначе, хронисту,
Который ни в чем не уверен, не до свидетельств
Против вас. Ни также против тебя.

Спешили обустроить эти свои владения.
Дробить памятки. Брать. Кровь
Со стен выводить мылом, известью, хлором.

В кресле цирюльника где-нибудь поюжнее.
Когда жара, тамбурин, позвякушки,
Пятнистая рептилия средь
Улицы кольцами вьется в кругу зевак.
Покуда равняют твои сивые бачки.
Кесарь,
Франц Иосиф,
Николай,
Эго.

— Однако выучился жить в своем унынии.

— Чудесно выручило марание бумаги.

// — Пжешь, были и краса, и ласка,

Я прославлял их, я служил им!
Дары сложил.

— Без конца повторяешь:
Аще успеваю.
Аще успеваю.

К обряду очищения меж столпами
Святыни ты жаждал привести собравшиеся толпы.

Обряды очищения! Где? Когда? С чего бы?

VII. ЗИМНИЕ КОЛОКОЛА

Инда я с гор Семиградия снова
Съехал в леса по лугам, по отрогам,
И раз под вечер, у брода речного
(Будучи выслан дружиной дорогу
Поразузнать), отпустил на попаску
Лошадь мою и достал из тороков
Книгу Писания, стал был обласкан
Светом зарниц и шумами потока,
То коринфян поучающий Павел
С первой звездой в этом небе высоком
Тотчас мне голову сном отуманил.

Отрок в богатой восточной одежде
Тронул меня за плечо и поведал:
«Время полощет водой твои вежды,
Я ж испытал его бездны и беды.
Павел гнобил меня громко в Ахее,
Ибо с супругой отца переспал я.
Не разрешил сотрапезничать с нею,
С братьями рядом сидеть за столами.
Больше я не был в священном собрание,
Грешным ведомый по жизни пожаром,
Сделался куклой страстей и желаний,
Дабы исполнилась вечная кара.
Но, аки гром, меня вырвал из тлена
Дланью Господь, о котором не ведал.
Все ваши правды ему по колено.
К твари он всяческой есть милосердый».

Так пробудившись под звездною чашей,
Столь удивительной помощью ранен,

Я разрыдался над брэнностью нашай,
Тонкий свой плат окропляя слезами.

Не быто отроду в Семиградье.
Не вожено оттуда в приход мой посланий.
А ведь могло было.
Такова квестия стилистики.
Плюсквамперфект
Стран несовершенных.

Зато не есть вымысел приведенная ниже повесть.
Улочка шла напрямиком от университета,
Называясь крайне просто: Заулок Литерацкий.
На углу книжная лавка, набитая не томами,
Но рукописями, до потолка. Перевязанные бечевкой,
Шрифты, кириллица, унциалы,
Еврейское письмо. Сто-, трехсотлетние.
Предполагаю, что стоило всё это до черта.
Из лавки, если смотреть чуть вбок, можно
Было увидеть другую такую же.
Схожи и хозяева: бесцветные пейсы,
Длинные халаты, покрасневшие веки.
Не менялись с того дня, как Наполеон здесь проехал.
Ничего не менялось. Преимущество камня?
Всегда есть, так любят. За другой лавкой
Обогнешь ограду и дом минуешь,
В котором пиит, в нашем городе славный,
Писал поэму о жене некого князя Гражине.
А рядом деревянная брама, усеянная гвоздями,
Огромными, с дюлю размером. Под аркой направо
Лестница с запахом краски, и там я.
Не то чтобы сам выбирал себе Заулок.
Так сложилось, сдавали каморку,
Низкую, эркерное окно, просторное дубовое ложе,
И печь жарко греет зимой суровой,

Рада поленьям, из сеней принесенным
Старой девицей, Альжбетой.

Сдается, никакой это не повод,
Раз уж после меня заносило
Дальше, чем за леса и горы любая дорога,
Чтобы в памяти воскрешать ту каморку.

Но принадлежу к тем, кто верует в *апокатастасис*.
Возвратное движение сулит это слово,
Полярное к мертвому *стазис*,
И появляется в Деяниях Апостолов, 3:21.

Означает: восстановление. В него верили Григорий из Ниссы,
Иоанн Скот Эриугена, Рюйсбрук и Уильям Блейк.

Выходит, у любой вещи для меня два измерения.
Во времени, и когда времени не будет.

Итак, однажды утром. Мороз крепчает.
Бьет холодом. В той серой сонной мгле
Пространство воздуха напоено багряным светом.
Сугробы розовы, раскатаны повсюду мостовые,
Дым, клубы пара. Саночки дзынь-дзынь
Ближе, дальше. У коней гривастых
Шерсть в инее, особо каждый волос.
И вдруг звонят. У Святых Янов,
У Бернардинцев, у Святого Казимира,
В Базилике и у Миссионеров,
У Святого Ежи, у Доминиканцев,
У Святого Миколая, у Святого Якуба.
Море звона. Как будто руки, дергая за тросы,
По-над городом ставят гордые палаты.

// Чтоб шла к заутрене, укутана платком, Альжбета.

Бывало, размышлял о жизни Альжбеты.
Мог бы расчесть и годы. Но не стоит.
Что годы, если вижу на снегу ее ботик,
Смешной, остроносый, пуговики сбоку.
А я всё тот же, пусть началось и кончилось
Спесью тела.

Пухлые ангелы дуют в золоченые трубы.
А сторбленного ксендза в его ризе
Сравнил бы сегодня со скарабеем
Отдела египетских древностей Лувра.

Сестра наша Альжбета общается со святыми —
С ведьмами, пытаннами водой и дыбой
Под портретом Троицы над облаками,
Пока не откроют, что еженошно летали сорокой,
С девками, служившими панской забаве,
Матерями со свертками под забором,
Жинками с разводными листами —
Ногтем с черным ободком она вдоль букв чертит,
Когда начальник хора, левит, оракул,
Поет, всходя на приступок: *Introibo ad altare Dei.*
Ad Deum qui laetificat juventutem meam.

Пре Дево курис линксмина мано яунисте.

Мано жаунyste.

Юность моя.
Так долго обычай
Трясет кадиллом и воскуряется дым
Этих моих слов.

Так долго возношу в просьбе голос:
Memento etiam, Domine, famulorum, famularumque tuarum
Qui nos praecesserunt.

Жили под Судом, ничего об этом не зная.

И Суд этот начался в году эдак тысяча семьсот пятьдесят
седьмом,

Хотя не факт, может, в другом каком-то.

Свершится же в шестом тысячелетии или во вторник.

Вдруг смолкнет мануфактура творца. Небывалая тишина.

И форма частного зерна исполнится славы.

Был осужден за отчаяние, ибо отказывался понимать.



КОММЕНТАРИИ

МИЛОШ КАК СОСТОЯНИЕ

Начну с небольшого стихотворения, взятого из книжки «Избавление» («Oscalenie» [Спасение], 1945). Оно называется «Встреча».

Выехали еще затемно, в полях лежал снег,
Проснулась алая птица, была ночь.

Внезапно перебежал дорогу заяц,
А кто-то из ехавших указал на него.

Давно это было. Ныне в иной земле
И заяц, и тот, что его заметил.

Радость моя, где же они теперь:
Взмах руки, линия горизонта, треск колч —
Спрашиваю в задумчивости, не в печали.

Чеславу Милошу в этом году исполняется 105 лет. Его присутствие до сих пор с такой силой ощутимо, что я обхожусь без частицы «бы». Для меня Милош, почитаемый в просвещенном мире как философ, гуманист etc., в первую очередь великий поэт. Хотя свою Нобелевскую премию (1980) он получил скорее по причине необыкновенной популярности его эссеистики (видимо, как и Иосиф Бродский). Тем не менее, он остается практически на вершине того небольшого

списка нобелевских лауреатов по литературе, чьи кандидатуры почти не вызывают сомнений.

Милош все время писал. Он был, как говорят поляки, титаном работы. Он сделал ставку на тот посыл, message, что поступал (некогда поступил) к нему со стороны высших сил, и приложил всю свою волю, умение, терпение, чтобы передать его дальше. Иногда он раздражающе многословен, порой невероятно зануден и дидактичен, частенько от его верлибров тошнит, но он — победитель. Он — услышан.

С возрастом Милош из посредника превращается в локатор: в какой-то рефлексирующий полуавтомат. Он считает нужным отзываться буквально на всё. Прочитал Эммануила Сведенборга — пишет о Сведенборге. Прочитал Уильяма Блейка — пишет о мистике Блейка как о чем-то очень важном и серьезном, при этом сам ни на йоту не будучи мистиком. Услышал о теории Большого взрыва — пишет о ней, абсолютно не понимая, что это такое, и уподобляя ее средневековым схоластическим представлениям о Божественном свете. Его непрерывное письмо не становится графоманским лишь потому, что он действительно постоянно «включен» в поле вещания.

Младенческой непосредственностью восприятия и реакции он напоминает Гете, который счел необходимым и даже возможным построить теорию цвета, оспаривая самого Ньютона. И этим (а еще тем, что оба прожили долгую, исключительно плодотворную жизнь) они с Гете отличаются от Пушкина и Мандельштама. Впрочем, полагаю, значение, вернее, значимость Пушкина и Мандельштама в перспективе может оказаться выше значимости Гете и Милоша. Причем меня трудно заподозрить в русофильском шапкозакидательстве, поскольку Пушкин, в конце концов, был негром, а Мандельштам — польским евреем. В сравнении с Мандельштамом Милош, как сам он написал в «Песнях Адриана Зелинского», — «младенец, не способный отличить кроху от зернышка тмина».

Однако именно с него «рациональный тренд» в мировой поэзии укрепился на несколько десятилетий. Возобладало негерметичное, в целом неметафоричное (если не считать метафорами неизбежные подростково-эротические аллюзии Бродского) направление рационалистов с теоретически-гуманистичным мышлением. Я говорю «теоретически», поскольку их интересовал не столько человек как таковой (хотя формально, скажем, Милошу НП была присуждена за то, что он «с бесстрашным ясновидением показал незащищенность человека в мире, раздираемом конфликтами»), сколько сохранение некоего предугадываемого равновесия. О каждом из нас, включая себя самого, он размышляет, как о том своем зайце — «в задумчивости, не в печали», даже если зайцу очень плохо и он нуждается в жалости.

Я думаю, таким образом мироздание отреагировало на эпоху жутких тираний XX века. Чтобы охранить свое равновесие перед угрозой тотальной власти не личностей, но воплощений (по-моему, мы всё яснее видим, что недавние и нынешние тираны — это не персоны, а состояния, скопления каких-то могучих и, очевидно, темных сил), мироздание решает оставить за собой, как минимум, трибуну. Не сцену, на которой кривлялись бы романтики, обращаясь к разнузданной элите, а рупор, здравый голос, способный противостоять сталинско-гитлеровскому маршу.

И, возможно, относительно недавнее присуждение НП Тумасу Транстремеру, который, в отличие от Милоша, не просто ужасается, ощущая потустороннее присутствие:

Вот, собственно, что стоит воспеть: день.
Но по другую сторону ярится первозданная мощь,
черти, глумясь над верящими в свое первородство,
расшвыривают груди кровавого мяса,
славят материю без замысла и конца
и начало агонии,
в которой вывертом влечения к себе
предстанет все, что любили [ЧМ], —

но верит в него, как в один из факторов восстановления и удержания равновесия:

Мне остался в наследство темный лес, куда хожу редко.
Но день настанет, когда местами поменяются мертвые и живые.
И тогда лес начнет движение. У нас есть надежда [ТТ], —

означает, что мироздание привлекает новые эшелоны человеческого разума (в широком смысле), готовясь дать отпор хаосу в грядущих битвах:

Засунув руки в свои гайднокарманы,
я подражаю тому, кто спокойно смотрит на мир.
Я поднимаю свой гайднофлаг, что означает:
«Мы не сдаемся. Но хотим мира» [ТТ].

За Милошем, как и — признаем это — за Бродским, стоят некие силы, достаточно мощные, чтобы можно было и самого Милоша трактовать как «состояние». Обольщаться, правда, не стоит: ниоткуда не следует, что это силы добра — в нашем, «домашнем» понимании добра (здесь я пытаюсь обыграть название книги Милоша «Домашняя Европа» (она же «семейная», «родная»), которую Барбара Торунчик, редактор «Литературных тетрадей», назвала «антидотом», противоядием к книге «Плененный разум»).

Рассуждая об «аморальности искусства» на базе известной новеллы Томаса Манна «Тонио Крегер» (где Манн в который раз говорит о литературе и искусстве как о болезни), зрелый Милош отдает должное мысли Манна, против которой восставал в юности: «Позже поэту придется испытать, насколько болезненно для его морального самочувствия осознание того факта, что отнюдь не самые благородные, наиболее человеческие мотивы являются его союзниками, но его “холодная, въедливая стойка”, — даже когда он пишет стихотворение против бесчеловечности. Именно это не только не дает особых прав поэту, но повышает требования к поэзии».

Милош родился в Литве и ощущал себя литовцем, пусть даже пишущим по-польски. Он — одна из тех фигур нашего польско-белорусско-литовско-латышско-русско-еврейского Земноморья (кстати, подобная фигура в Латвии — это, условно, Визма Белшевица), которые я охарактеризовал бы как «стражей границ»: не государственных, конечно, а границ Равновесия. Между тьмой и светом, малым и большим, своим и «всехним», живым и мертвым.

Понятно, такое занятие накладывает на человека определенный отпечаток. Пребывание в «пограничной страже» может заморозить человека, сделать его черствым, чванливым, чересчур серьезно относящимся не только к своему занятию (что похвально), но и к себе самому и своим результатам в нем. Для Милоша эта опасность усугублялась спецификой его деятельности: дипломат, профессор, — а впоследствии и статусом лауреата. Тем не менее, здравая сельская и в чем-то даже крестьянская закалка (хотя по крови он шляхтич) спасает его и здесь. Сделав, как я уже говорил, значительную ставку на свой ход, на свою собственную игру, он всегда был не только готов к поражению, но изначально принимал любую победу как поражение.

Вот он пишет в «Чародейской горе» (сборник «Гимн жемчужине», 1983):

Выходит, не обрести величия и не спасти вселенной?
Честь мне не снискать, ни жезла и ни державы?
К тому ли вел возлюбленного себя,
Дабы плести стихи туманам и альбатросам,
Слушая, как внизу гудят судовые сирены?

Так всё позади. Что позади? Да жизнь.
Заплачу ли над собственной, напрасной.
Облачного островка с лежбищем нерп
И скудной пустыни достаточно,
Чтобы сказать йес, так, да.
«Даже во сне мы трудимся над становлением мира».
Только в терпении родится терпение.

Из пустоты свивал невесомую нить.
И лез по ней, и несла меня.

Вернусь к сопоставлению с Пушкиным и Манделъштамом. Их резонанс (международное признание) слабее, чем у Милоша и Гете, но не из-за обыкновенной непереводаемости, а из-за трудностей глубинной интерпретации текста. И Пушкин, и Манделъштам пытаются на свой лад, страх и риск анализировать идущую на них информацию, делать выводы, предсказывать, пророчествовать. Известно, что «избрал немудрое мира сего», «открыл простым и малым сокровище от мудрых». Однако Бог не придерживается бинарной (восточной, а также российской) модели отношений: горячо — холодно, плохо — хорошо; либо тирания, либо анархия. Он, как ни странно, западник, только не открывает своей тернарной (триединой) модели непосвященным. Ангелу Лаодикийской церкви Он, как известно, говорит: «Ты ни холоден, ни горяч; о, будь ты холоден или горяч! Но ты тепл, и за это изблюю тебя из уст Моих».

Вот это и есть третий член модели — быть теплым. Это связка между крайностями, передаточное звено, сустав! Быть мудрым — значит быть теплым. А кроме стадии младенчества есть еще стадия пророка, которому не просто открыто нечто, а всё — и сразу (Стругацкие в «Гадких лебедях» о том, почему все пророки были пьяницами: «Потому что уж очень это тоскливо: ты все знаешь, а тебе никто не верит»).

Пушкин с Манделъштамом, каждый в свое время, получили приглашение в лигу пророков, и отыграли там по несколько сезонов. Результаты — «Борис Годунов» и «Стансы» или «Ода Сталину» — не вполне поняты до сих пор.

Я бы сравнил Манделъштама с бразильским футболистом Пеле. Сам я видел его игру лишь по телевизору, но отец мой рассказывал, что Пеле был как раз таким игроком, который знал, что через минуту будет гол, пока сам еще стоял у своих ворот. Вот он вдруг сорвался, побежал, никто ничего

не понял... удар — гол! Мандельштам, начиная «Стансы» или «Оду», уже чувял, что это будет не славословие, но приговор Сталину. И Сталин, наделенный силой своего состояния-воплощения, почувствовал это и показал ему желтую карточку. А склонный к крайностям Мандельштам, говорят, сам себе заменил ее на красную.

И все же Милош оказался достаточно серьезным спортсменом, чтобы тренер упорно продолжал ставить его на игру. Я, между прочим, думаю что, например, Уинстан Хью Оден отсидел почти всю жизнь на скамейке запасных по причине избыточной ироничности. Сам же Милош незадолго до присуждения ему НП в стихотворении «Не так» из книги «От восхода солнца и до его заката» с горечью, хотя и не без иронии, признавал:

Ни разу не спел в полный голос, хотя желал бы вознести иные
хвалы.

Открыто и без иронии, любовницы смердов.
За семью кордонами, под рассветной звездой,
Речью огня, и воды, и рептилий.

На самом-то деле — спел. Открыто и без иронии.

* * *

Исследователи литературы утверждают, что каждая строчка поэмы Чеслава Милоша непосредственно связана с двумя, а то и с тремя псалмами Давида, одним из «Четырех кварталов» Т. С. Элиота и всем творчеством Уильяма Блейка сразу. Кроме того, там постоянно присутствует Адам Мицкевич, а эпизодически — Августин Блаженный, Сведенборг, Ницше и иже с ними. Но, похоже, всему этому найдется место в довольно простой схеме: как бы подводя определенный итог, Милош (а он вряд ли был уверен в том, что протянет еще тридцать лет, получит Нобелевскую премию, переживет обеих жен, вернется на постоянку в Польшу и так далее) решил написать свою миниатюрную «Одиссею», вернее, эдакого «Улисса» Джеймса Джойса, которого читал и читл с юных лет.

Уже название двукратно отсылает нас к «эпопее двух народов (израильского и ирландского) и в то же время циклу всего человеческого тела, равно как и “историйке” [storiella] одного дня» (Джойс в письме Карло Линати, 1920). В дословном переводе оно звучит так — «Где восходит солнце и куда садится» — и подразумевает огромный пространственный размах (являясь, к тому же, попыткой соединить мостом Литву с Калифорнией), а в то же время период, равный одному дню: «От восхода солнца до запада/заката». Обе заковыченных цитаты имеют библейское происхождение. Первая, на польском, открывает вторую строфу псалма *Laudate pueri/servi Domini* (номер 112 или 113, как когда) в рифмованной версии Франциска Карпинского, предназначенной для литургии *нешпоров* (вечерней службы). Вторая — русский синодальный перевод того же псалма.

(Для заглавия книги я использовал девятый стих 138 (139) псалма: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря», — значит он примерно то же самое, а подходит, как мне кажется, значительно лучше [идея была подсказана одним

из немецких переводов, *Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt*, который параллелен лютеровскому *Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer*].)

Подобно «Улиссу», поэма богата «скрытыми» сюжетно-тематическими планами. Семь ее частей — достаточно условно, впрочем — отвечают шести дням творения и воскресному (субботному) отдыху, а заодно семи ступеням «духовной лестницы» Блаженного Августина: *Послушание* — *animatio* (одушевление); *Заметки натуралиста* — *sensus* (чувство); *Lauda* — *ars* (искусство), *По-над городами* — *virtus* (добродетель), *Перемена* — *tranquilitas* (покой), *Обвинитель* — *ingressio in lucem* (вступление в Свет) и *Зимние колокола* — *contemplatio* (созерцание Истины). Есть и дополнительные планы, например, параллель к литургическому году: I–III части — это Адвент и Рождество, IV часть длится от Трех королей до Пепельной среды, V часть продолжает Великий пост вплоть до Пасхи, VI часть — от Пасхи до Троицы, VII часть — начало нового цикла.

Один из важнейших мотивов — понятие «апокатастасиса», в смысле «восстановления всех вещей» употребленное, в частности, в «Деяниях апостолов» (3:21): «Он должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, что обещал с давних времен устами Своих святых пророков» (к сожалению, из синодального перевода этот еретический термин изгнан: «...Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века»). ...*I tried to depict the earth which is prehuman and presumably posthuman* (1922), писал в свою очередь Джойс своей покровительнице Харриет Шоу Уивер: «...Я пытался изобразить землю, которая существовала до человека и, предположительно, будет существовать после». И верил: он даст «столь полную картину Дублина, что если город вдруг исчезнет с лица земли, его можно будет восстановить по книге».

Наконец, еще одно свойство роднит эти тексты технически: комментировать их равно необходимо и бессмысленно. В комментарии нуждается практически каждое слово, при том что возможно чтение вообще безо всяких комментариев. Слова С. Хоружего, русского переводчика Джойса, многое объясняют: «Подчеркнем, что комментарий не является “полным”, разъясняющим каждую неизвестную или непонятную мелочь. Такая полнота не только недостижима, но и нежелательна: читатель должен соображать и сам, а какие-то сведения ему и должны оставаться неизвестны, мир романа должен быть для него насколько-то незнакомым, интригующим...»

Пользуясь Википедией, пока еще нетрудно узнать, кто такой Шандор Петёфи или из-за чего началась Феррарская война. Касаться излюбленного комментаторами нравственного аспекта я тоже не стану, поскольку его вычленение из поэтического контекста представляется мне безнравственным по отношению к Эвтерпе. Поэтому вместо «полного комментария» я предлагаю здесь небольшую кунсткамеру, набор замечаний, которые — надеюсь — если и не укажут на что-либо существенное, то по крайней мере развлекут.

Такая вот вербальная дескрипция парадигмы коммуникации.

Цифры перед примечанием — номер страницы.

(7) *На крыльях зари за край моря* — по всей видимости, Милош находится под влиянием «Мильтона» Уильяма Блейка: «And on its verge the Sun rises & sets, the Clouds bow/ To meet the flat Barth & the Sea in such an order'd Space...»

(7) *Под фиолетовой тучей* — «любимая» туча автора (ср. «Фиолетовая туча стоит над Сан-Франциско,/ Если ехать вечером вдоль Медвежьего Пика...»).

(7) *Коня рыжего* — «Война рыжего коня — это война польско-немецкая, по крайней мере поначалу» (Оскар Милош, см. прим. к стр. 20).

(7) *За чухонской деревней* — ребенком Милош на какое-то время попадает в Юрьев, нынешний Тарту.

(8) *Чаянья старцев* — есть мнение, что старцы пришли из стихотворения У. Б. Йейтса «Плавание в Византии» (That is no country for old men — «Старикам тут не место»).

(8) *Течет, не течет* — «World not world» Т. С. Элиота («Четыре квартета. Бернт Нортон»).

(9) *Сонные тающие дома* — возможно, обители «Внутреннего замка» Св. Терезы Авивильской.

(13) *Падающая звезда* — отчасти *falling star* из поэмы Уильяма Блейка «Мильтон» (...I saw him in the Zenith as a falling star), поражающая левую ногу Блейка как в тексте, так и на соответствующих гравюрах.

(14) *Žalia rūtele* — в нескольких местах автор пользуется литовским языком, в дальнейшем это не оговаривается. *Зеленая рута* — символ невинности (не путать с рутой червоной!), способна снимать половое возбуждение; также известна как средство от колдовства. *Оняле* — уменьшительное от литовского «Она» (Анна).

(14) *Наш лес и его обитатели* — популярная книга биолога Богдана Дьяковского (1864–1940).

(14) *Плач разодранного зайца* — Милошу в целом интересны зайцы (см. выше), но здесь явно не обошлось без Платона и его идей: «По земле бегают и умирают зайцы, лисы, лошади, но где-то там, наверху, пребывают вечные идеи зайцевости, лисости, лошадности...» (из «Азбуки» Ч. Милоша).

(15) *На улице Медовой* — одна из удивительнейших, если можно так сказать, улиц Варшавы.

(16) *Азилус* — он же ктырь, крупная (порядка 2 см) муха, внешне напоминающая шершня.

(16) *Между устами и краем кубка* — роман Марии Родзевичуны (1864–1944). Цитата: «Между устами и краем кубка еще многое может случиться».

(17) *Пройдешь воротами выжженного града* — вероятен мотив Варшавского гетто, хотя профессор Маевский и умер в 1922 году.

(18) *Алик, мой бедняшка* — заболевший полиомиелитом школьный товарищ Милоша Александр Протасевич, русский. «Это было мое первое знакомство с жестокостью Бога, открытие, что Высшая Сила может пещься о многом, но не о принципе сочувствия в нашем понимании» («Азбука»).

(18) *На палке насекомых* — процесс «карбования» для расчетов между гуцульскими крестьянами, описанный Станиславом Винценцем в чрезвычайно важной для Милоша эпопее «На высокой Полонине».

(19) *Деревянные Мадонна и Младенец* — знаменитая статуя «Черной Мадонны» (см. тж. прим. к стр. 44).

(20) *Lauda* — следующий «сонный дом»; многоязычный универсум детства, вообще прошлого, исток, небесный Иерусалим вне времени и пространства, при этом чудесным образом локализованный в Кейданском повете. Однако представляющие Ляуду «потерянным Раем» словно бы забывают о письмах Милоша Ярославу Ивашкевичу (к примеру, о матери: «простота, граничащая с невежеством»; о воспитании: «то, что моим ровесникам дано воспитанием, я должен отвоевывать сам»; о семье: она «растлена провинцией» и «ненавижу засевшие во мне плебейские черты» [«Двойной портрет»]).

(20) *Один известный алхимик* — Оскар де Любич Милош (1877–1939), французский поэт и литовский дипломат, дядя Чеслава Милоша. Имел гипнотическое влияние на племянника, который считал его своим учителем и посвятил ему поэму «Подмастерье». Фактически инициировал Милоша-младшего. *Называтья та земля* — парафраз «Послания к Сторгу» О. Милоша (1916).

(20) *И мы залиты янтарем* — в известном докладе А. Мицкевича о кс. Петре Скарге (1536–1612), одном из духовных авторитетов Милоша, золоту алхимиков отвечает янтарь, золото севера, священный камень литвинов, символ солнца и любви. Появляется в тексте многократно.

(21) *Фатон* — понятно, что он делает в «янтарном» контексте; сюжет усилен скипетром и плетью, а также летящим с моста Голден-Гейт самоубийцей.

(21) *Слижики* — šližikai, они же «кучукай», они же «поросята» — традиционное литовское печенье на Рождество.

(23) *Станислав Кунатт* — «Обыкновение удваивать согласные в конце фамилий (Юндзилл, Монгвилл, Радзивилл) появилось, вероятно, для придания им аристократического веса» («Азбука»). Иронизируя, Милош не упускает случая погордиться как собственным мелкопоместным шляхетством, так и древностью дядиного рода. В то же время Блейк, по выражению А. Зверева, проповедовал «радикальный демократизм» и тем очаровал Милоша.

(23) *Писан «русской мовой»* — язык атрибутируется как старобелорусский. Фрагмент, как мне кажется, помещен здесь минимум по трем причинам. Во-первых, Милош опробует модель сосуществования разных народов. Во-вторых, вводит так называемую структуру «силвы» (от латинского *silva rerum*, дословно «лес вещей»), объединяющую формально неоднородные тексты и характерную для «старопольской» культуры. В-третьих, в 14-м эпизоде «Улисса» («Быки Солнца») Джойс стилистически воссоздал историю английского литературного языка и тем самым историю народов Соединенного Королевства. В русском переводе шабаш открывается фразой «Отроча еще не раждено рачителей рвение разожже» (Before born babe bliss had. Within womb won he

worship). Это конец первого тысячелетия нашей эры, Милош же начинает с XVI века.

(26) *Реестр описания вещей* — см. прим. к стр. 23.

(30) *Зренье, слух не солгут* — парафраз стихотворения «Надежда» из «Наивной поэмы “Мир”» (Wzrok i sluch już nie kłamią вместе I że wzrok, dotyk ani sluch nie kłámie).

(31) *На одном из редчайших* — ср. «Читатель не ошибется, почитав, что автор, предаваясь бессмысленному, на трезвый взгляд, занятию, каковым является писание по-польски на берегу залива Сан-Франциско, был чрезвычайно далек от мысли получить через несколько лет Нобелевскую премию и что, к его удивлению, стихи, сочиненные для “туманов и альбатросов”, появятся на страницах газет переведенными на разные языки».

(32) *Поэт Теодор* — Теодор Буйницкий (1907–1944), трагическая фигура, «последний поэт Великого Княжества», заводила Академического «Клуба бродяг» (псевдоним «Амогек» [Амурчик]), основатель журнала «Жагары». Один из тех, кому был вынесен так называемый «вырок смерти» (см. прим. к стр. 49). История темная: в декабре 1942 подпольный трибунал «заочно» (Буйницкий находился в Литве) приговорил его к смертной казни за сотрудничество с советскими властями. По словам сына, первый исполнитель после встречи с отцом отменил приговор и, соответственно, подал рапорт. Но уже в ноябре 1944 шестнадцатилетний Вальдемар Б. по прозвищу «Роланд» заявился в квартиру на Подгорной и спросил у жены: «Дома ли Дорек?» А когда Теодор вышел из комнаты, впал в истерику и нажал спусковой крючок. («Мы — извечные оруженосцы Роланда», — писал в конце двадцатых Амурчик.)

(33) *Пал Пранас* — Францишек Анцевич или Пранас Анцявичюс, также «Драугас» (литовское «друг»), университетский товарищ Буйницкого и Милоша. «Родом из Жемайтии. Атеист, марксист, социалист, антикоммунист» («Азбука»). При этом юрист, журналист и профсоюзный деятель. Именно он осенью 1940 года дал Милошу *sauf-conduit*, ставший позднее, как и литовский паспорт, притчей во языцех. Страдал от приступов депрессии. Кажется, говоря о лучших и достойнейших, Милош имеет в виду Пранаса.

(33) *Ника тихо старится* — Ника Клосовская (Клосовска-Вольман), студентка Школы политических наук; из-за нее, ночевавшей с Милошем и клопами на одном «дубовом ложе» в Заулке Литеракком (см. стр. 59), пани Альжбета в 1936 году изгнала аморального жильца... Вышла замуж в семнадцать лет, двое детей. Голубоглазая блондинка, танцовка; ей посвящается стихотворение «Диалог» (1934), в котором беседа между Вожатым и Учеником предвосхищает VI часть поэмы.

Впереди — два новых замужества, практика в Москве, Пубьянка, Казахстан, Англия, Аргентина, наконец Мельбурн. Умерла в 2001 году.

(34) *ЛИТВА. Отчизна* — стихотворение написано Буйницким около 1930 года. Входит в разнообразные «каноны» польской поэзии. Первые два слова — это знаменитое начало «Пана Тадеуша» Мицкевича: «Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie...»

(35) *По призванию, по святости* — парафраз характеристики Юлиана Немцевича, данной ему Маурицием Мохнацким (1803–1834).

(37) *Пан Норвид* — Циприан Камиль Норвид (1821–1883). *Пан Гомбрысь* — Витольд Гомбрович (1904–1969).

(38) *Если ты, Пани* — вежливое обращение предполагает глагол в 3-м лице: «Если Пани жалеет свою табакерку...»; обращение Пошки фамильярно-свойское.

(39) *На Большом ковеном гостиньце* — фрагмент называют «польско-русским макароническим стихотворением», однако пару веков назад оно не было бы таким уж макароническим.

(41) *Топор занесен* — предварение финальной цитаты из Уильяма Блейка (см. стр. 62).

(41) *Кто ведет в плен* — «Откровение Иоанна Богослова», 13:10. Синодальный перевод: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». В позднейших переводах (не только в русском) идея прижизненного воздаяния, похоже, частично снята: «Кто должен быть пленен, будет пленен. Кто убьет мечом, будет сам убит мечом. Вот когда людям Божиим нужны долготерпение и вера».

(42) *Всеобщее пожирает Частное* — очевидный след Гегеля. Периодически объясняя, что роман «Долина Иссы» был «самолечением, направленным против соблазнов философии Гегеля», Милош подчеркивал, что Гегель едва не довел его до самоубийства.

(42) *Три дня постных* — в оригинале suchedni, известные на Руси как Quatember: кварталные постные дни в католической традиции (среда, пятница и суббота в начале каждого времени года).

(42) *Это судно* — хотел было написать, что все лодки и корабли Милоша идут от Эзры Паунды, но вспомнил, что переводчик, согласно завету Маршака, должен смотреть не только в словарь, но и в окно, и что сон о банане может быть всего лишь сном о банане.

(43) *Жизнь невозможна* — слова Симоны Вайль: «Человеческая жизнь — невозможна», «наша жизнь — невозможность, абсурд» и так далее. (Ника Клосовская отмечала, что «Olimpiu» Милош «умел соединить видение катастрофы с красотой мира»).

(44) *Черной Мадонне* — икону Божьей Матери Остробрамской как только не называют: не-иконой, портретом (королевы Барбара

Радзивилл), Белой Мадонной (чтобы отличить от Ченстоховской), Черной Мадонной... Мицкевич, один из зиждителей ее культа, писал в «Пане Тадеуше»: «Дева святая, что светлую Ченстохову хранишь и в Острой Бреме сияешь!»

(45) *Из Венеции ехал в Равенну* — летом 1321 года Данте в качестве посла Равенны отправился в Венецию для заключения мира. На обратной дороге он заболел малярией и умер. Фрагмент построен на «фальшивых» подобиях и параллелях.

(46) *В войсках остроготов* — здесь и далее Милош развивает тему воителей-ариан остроготов, имея в виду, что Кейданы в XVI веке (при Радзивиллах) были центром литовского арианства.

(47) *Я не был. Я был* — non fui, fui, non sum, non desidero (прим. автора). Ср. «Аврелии Верцелле, дражайшей супруге, которая прожила не более и не менее, чем 17 лет. Я не была. Я была. Нет меня. Нет у меня желаний. Антим, ее муж».

(47) *Пьетро и Джованни* — Пьетро Перетти и Джованни Мария Галли (прим. автора [в оригинале Милош называет фамилию Perucci]). Под их руководством в конце XVII века производилась отделка интерьеров барочного костела Св. Петра и Павла в Вильно/Вильнюсе (ср. «У Петра и Павла ангелы смежают плотные веки, откуда монашек одолевают скоромные мысли» [«Город без имени»]).

(48) *Хотел вообразить другую землю* — ср. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откр. 21:1).

(48) *Нелюдимая свита* — «...Пейзажи, а может быть, и духи Литвы никогда меня не покидали» (из Нобелевской речи).

(49) *Серебряную лилию* — нагрудный знак (в виде креста) польских харцеров. Цвет отвечал одной из двух ступеней (разведчики и цвики). «Азбука»: «Двумя самыми прославленными отрядами были “Черное тринадцать” и “Голубая единица”, где я, страшно волнуясь, сдавал экзамен и получил “золотую лилию”». В контексте Данте две алые лилии на белом поле — это герб Флоренции.

(49) *О пользе смертной казни* — в оккупированной Польше экзекуторы Армии Краевой привели в исполнение более трех с половиной тысяч смертных приговоров (wzrok śmierci), вынесенных подпольными трибуналами (см. прим. к стр. 32). «Вынесение смертных приговоров мучителям, предателям, шпионам и провокаторам входит в компетенцию специальных судов...» (16 апреля 1940, Комитет Министров по делам Отечества при Правительстве Польши в изгнании).

(50) *В стеклянном доме* — мечта инженера Барьки из романа Стефана Жеромского (1864–1925) «Предвесеннее». Цитата: «Барька вырабатывает бревенчатое стекло. Благодаря бесплатно получаемой от

западного течения энергии, он имеет неимоверное количество электрического тока и плавит прибрежный песок» (пер. С. Гонзаго).

(53) *Хуже того, со славянским* — намек на Ф. Ницше.

(54) *Чуткие звери надежные* — автоцитата из стихотворения «Врата Арсенала» (1935): «Чуткие звери надежные молча, в покое/ протор охраняли парков...»

(54) *Исторгнутые на землю* — ср. «И все же обвинители ошиблись,/ Печальники о зле эпохи нашей,/ Принявши нас за ангелов, что в бездну/ Низвергнуты...» («Поэтический трактат. Ода», пер. Н. Горбаневской).

(55) *В мольбе о дне последнем* — «Следуя манихейской традиции, Симона Вайль обычно говорила, что, произнося слова молитвы “Да придет Царствие Твое”, мы молимся о конце света, как будто лишь он упразднит власть Князя Тьмы. И тут же добавляла, что вместе со словами “Да будет воля Твоя и на земле, как на небе” мы этот мир принимаем...» («Значение Симоны Вайль», пер. с английского Б. Дубина)

(56) *Эбатана. Эдесса* — (а чуть выше Прованс) суть территории длительных и многочисленных военных конфликтов.

(56) *Кесарь, Франц Иосиф, Николай* — тираны Польши; кесарь — король Пруссии Фридрих II.

(56) *Жить в своем унынии* — Милош в «Саду наук»: «Леность вместо *acedia*. Польский язык не несет ответственности за это смешное недоразумение...» Дело в том, что главный грех уныния («акидиа») по-польски именуется *gniańność* или *lenistwo*. И далее там же: «Исконного значения не передают ни французское *paresse*, ни английское *sloth*, ни немецкое *Trägheit*. Идеально передает его только старо-церковно-славянское *уныние*».

(58) *Зимние колокола* — «О, Господи, какие труды, и внешние, и внутренние, придется перенести, прежде чем вступишь в седьмую обитель!» (Св. Тереза Авильская, см. прим. к стр. 9).

(58) *Сделался куклой* — «ктырь» (см. стр. 16) и «кукла» выступают в тексте в роли манков (в оригинале *łowik* и *łątka*).

(59) *Заулок Литерацкий* — сегодня улица Литерату (*Literatų gatvė*). В доме Пясецких (№ 5) останавливался Адам Мицкевич, приезжая из Ковно в 1823 году. Предположительно, здесь он писал и готовил к печати поэму «Гражина».

(59) *Поэму о жене* — текст «Гражины» включает в себя 225 примечаний, образующих своеобразную «силъву» (см. прим. к стр. 23).

(60) *Апокатастасис* — ср. «Следовательно, для того чтобы обойти весь круг эклиптики [...], равноденственной точке понадобится примерно 25 920 лет [...]. С астрономической точки зрения такое возвращение равноденственной точки к своему исходному положению есть

“восстановление” или апокатастасис, как это и трактовалось астрономами и мыслителями древности, которые часто видели в этом не только один астрономический смысл. Может быть, именно потому указанная величина получила еще с глубокой древности наименование “Великого года” (Magnus annus), или “Платонова года”» (А. Н. Зелинский, «Конструктивные принципы древнерусского календаря»).

(62) *Заклятья пророков* — из Уильяма Блейка (прим. автора). Ниже по тексту следует поделенный на две цитаты фрагмент из «Мильтона»:

*Whatever can be Created can be Annihilated: Forms cannot.
The Oak is cut down by the Ax, the Lamb falls by the Knife,
But their Forms Eternal exist, For ever. Amen. Hallelujah!*

*For God himself enters Death's Door always with those that enter,
And lays down in the Grave with them, in Visions of Eternity,
Till they awake & see Jesus, & the Linen Clothes lying
That the Females had Woven for them, & the Gates of their Father's
House.*

(63) *И Суд этот начался* — в 1757 году не только родились Уильям Блейк и Ричард Бразерс, теолог и проповедник, объявивший себя Князем евреев, прямым потомком царя Давида и правителем мира до второго пришествия Иисуса Христа, но также имел место «Последний Суд» Эммануила Сведенборга: «Нужно знать, что с тех пор, как совершился Последний Суд в духовном мире в 1757 году, о чем говорится в специальной небольшой работе, изданной в Лондоне в 1758 году, было создано новое небо из Христиан, но только из тех, которые признавали, что Господь есть Бог неба и земли, по Его словам у Матфея 28:18, и которые в то же время раскаивались в мире в злых делах» («Апокалипсис открытый», пер. Е. Возовик).

(63) *Исполнится славы* — ср. «Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего (в славе)». В польской литургии ответ священнику, становящемуся во время второй Евхаристической молитвы на колени и возглашающему: «Велика тайна веры», — заканчивается словами «Тwego przyjścia w chwale» (Твоего пришествия в славе).



СОДЕРЖАНИЕ

НА КРЫЛЬЯХ ЗАРИ ЗА КРАЙ МОРЯ

I. Послушание	7
II. Заметки натуралиста	10
III. Lauda	20
IV. По-над городами	41
V. Перемена	46
VI. Обвинитель	52
VII. Зимние колокола	58

КОММЕНТАРИИ

Милош как состояние	65
Примечания	74

В серии ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОДА Русский Гулливер
планирует выпустить книги Игоря Белова, Иоганнеса
Бобровского, Сигитаса Гяды, Юриса Кунноса, Маризеллы
Мер, Георга Тракля, Михаэля Фера, Эберхарда Хефнера,
Збигнева Херберта, Романа Хонета, Ульфа Штольгерфота

www.gulliverus.ru; www.gvideon.com